



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Lingue e letterature
europee, americane e
postcoloniali

Tesi di Laurea

**La prosa di Leonid
Leonov negli anni
Venti**

Relatrice

Ch.ma Prof.ssa Daniela Rizzi

Correlatore

Ch. Prof. Alessandro Farsetti

Laureanda

Veronica Grinzato

Matricola 848261

Anno Accademico

2018 / 2019

Indice

1. Abstract.....	2
2. Vita e opera di Leonid Leonov.....	7
2.1 Origini.....	7
2.2 1922: il debutto letterario.....	11
2.3 Gli anni 1924-1927: <i>Barsuki e Vor</i>	16
2.4 Gli anni Trenta: <i>Sot', Skutarevskij e Doroga na Okean</i>	21
2.5 Gli anni Quaranta: la Grande Guerra patriottica.....	24
2.6 <i>Russkij les</i> e le revisioni degli anni Cinquanta-Sessanta.....	25
2.7 L'ultima opera.....	28
3. Commento a tre racconti scelti.....	30
3.1 <i>Buryga</i>	31
3.2 <i>Uchod Chama</i>	43
3.3 <i>Derevjannaja koroleva</i>	56
4. Versione originale e traduzione in lingua italiana.....	68
5. Bibliografia di riferimento e siti web consultati.....	158

1. Abstract

В данной работе речь идет о жизни и творчестве русского писателя Леонида Леонова.

Целью данного исследования является с одной стороны описание жизни этого писателя, вместе с политическими и социальными условиями, в которых он жил, а с другой стороны перевод с русского языка на итальянский и анализ трех его рассказов, написанных в 1922 году: «Бурьга», «Уход Хама» и «Деревянная королева».

Актуальность выбранной темы состоит в том, что этот писатель – не так известен в итальянской культурной среде, поэтому я решила обратить внимание на его творчество. В частности, было очень интересно перевести его рассказы, и с точки зрения стиля, и сточки зрения языка.

Материалом для исследования послужили в особенности монография о Леонове *The Art of compromise: The Life and Work of Leonid Leonov. 1899-1994*, написанная литературоведом Борисом Томсоном, и собрание «Ранние рассказы» Леонида Леонова, откуда были выбраны рассказы для перевода.

Работа состоит из трех глав.

В первой главе говорится о жизни Леонова вообще.

Леонид Максимович Леонов родился в 1899 году в Москве. Его отец был известный поэт Максим Леонович Леонов (1872-1929), а мать — Мария Петровна Петрова (1877-1968). С самого раннего детства Леонов жил в Москве в Зарядье, где работал его дед, а лето он проводил в селе Полухино. Леонов учился в Петровско-Мясницком городском училище, а в 1918 году он окончил 3-ю Московскую гимназию и получил серебряную медаль. В этих годах он проводил каникулы в городе Архангельске, где жил его отец по политическим мотивам. Этот факт является важным, потому что там он начал работать в газете его отца «Северное утро» корректором. Именно в той газете появилось в 1915 году в печати самое первое стихотворение Леонова, «Вечером». С этого момента он начал писать и публиковать свои произведения. Еще когда он был гимназистом, он написал сказку «Царь и Афоня» и рассказы «Профессор Иван Платоныч», «Сонная явь» и «Тоска». После того, когда он окончил гимназию, он поехал в Архангельск и работал в газетах «Северное утро» и «Северный день». Именно в 1918 году началась гражданская война, и спустя два года Леонов решил вступить добровольцем в Красную Армию. В это время он работал редактором в дивизионной газете. В 1921 году Леонов поехал в Москву, поскольку он хотел поступить в университет. Однако ему

не удалось поступить ни на филологический факультет, ни во ВХУТЕМАС, поэтому он был вынужден найти работу. В то же время Леонов познакомился с издателем Сабашниковым, дочь которого (Татьяна Михайловна) стала его женой.

1922 — это год официального начала литературной деятельности Леонова, когда был опубликован в «Шиповнике» первый рассказ «Бурыга». В этом году Леонов написал одиннадцать рассказов, среди которых можно упомянуть рассказы «Деревянная королева», «Уход Хама», «Валина кукла», «Халиль», «Туатамур», «Бубновый валет», «Конец мелкого человека» и «Петушихинский пролом». Эти ранние рассказы являются чрезвычайно важными не только потому, что они представляют собой литературным дебютом писателя, но и потому, что они были написаны в разных стилях. Они связаны с символистской прозой, восточной экзотикой, северной сказкой и с библейской тематикой. Особенность этих рассказов — использование сказа, то есть способность рассказать историю с точки зрения не автора текста, а другого человека. Рассказы были хорошо встречены критикой, которая похвалила талант молодого писателя. Кроме того, с появлением его первых рассказов, Леонов был причислен к писателям-попутчикам.

С течением времени Леонов начал писать романы вместо рассказов. В 1924 году появился в печати его первый роман «Барсуки». Здесь речь идет о жизни двух братьев: Семен становится главой крестьянского мятежа, а Павел — главой группы коммунистов. Конфликт между братьями — неизбежный, и в конце романа антибольшевистская борьба является катастрофической. Спустя три года Леонов опубликовал второй роман, «Вор». Это история командира — Векшина, исключенного из партии за убийство офицера и становящегося главарем воровской шайки. Этот роман показывает интерес Леонова к Достоевскому, больше всего в описании героев Векшина и Маши. Летом того же года Леонов путешествовал по Европе, был также в Италии, где в то время жил Горький. Между 1927 и 1928 он написал серию повестей («Белая ночь»), рассказов («Необыкновенные рассказы о мужиках») и пьес («Унтиловск»). Кроме того, в 1929 году Леонов стал председателем Союза Писателей.

С начала социалистического реализма Леонов адаптировался к новым принципам, и темы его романов тоже изменяются. В 1930-х годах он опубликовал три романа: «Соть» (1930), «Скутаревский» (1932) и «Дорога на Океан» (1935). В романе «Соть» говорится о строительстве бумажной фабрики на берегах реки Соть. Главный герой — Увадьев встречает множество затруднений, но успешно доводит дело до конца. Роман «Скутаревский» рассказывает историю физика, которому нужно провести эксперимент, но этот эксперимент оказывается неудачным и поэтому он боится гнева истеблишмента. В романе «Дорога на

Океан» речь идет о жизни человека, который смертельно болен. Эти произведения, несмотря на то, что были строго раскритикованы советской интеллигенцией, позволили Леонову достичь вершин успеха. Проблемы для Леонова начались в конце 1930-х годов, после публикации пьес «Половчанские сады», «Волк» и «Метель». Леонов был вынужден уйти в отставку с поста издательства «Новый мир» и рисковал тюрьмой.

Во время Великой Отечественной войны Леонов жил в эвакуации в Чистополе и работал военным корреспондентом на фронте, где он нашел новый материал для своих произведений. В эти годы он написал пьесы «Обыкновенный человек» (1941), «Нашествие» (1942), «Ленушка» (1943), «Золотая карета» (1946) и повесть «Взятие Великошумка» (1944). Критика снова начала ценить писателя и в 1943 году он получил Сталинскую премию.

В 1950-х годах Леонов начал интересоваться проблемами экологии и защиты окружающей среды. В результате этого он написал роман «Русский лес» (1953). Однако здесь говорится не только о лесоводческих проблемах, но и об исторической судьбе России на философском уровне. В 1957 году роман был награжден Ленинской премией. В конце 1950-60-х годов Леонов вернулся к некоторым произведениям прошлых лет и опубликовал новые редакции «Золотой кареты», «Вора», «Метели», «Конца мелкого человека» и «Нашествия». В 1963 появилась в печати повесть «Evgenia Ivanovna».

Последний роман Леонова — «Пирамида», который был опубликован в 1994 году, то есть в год его смерти. Леонов работал над этим романом с 1940-х годов, поэтому можно сказать, что он подводит итоги всего своего художественного творчества. Здесь писатель обсуждает теологическую тему и поднимает философские вопросы о прошлом и будущем человека.

Во второй главе рассматриваются три рассказа: «Бурьга», «Уход Хама» и «Деревянная королева». Эти рассказы были написаны в начале 1920-х годов и, в частности, в 1922 году. Поэтому можно сказать, что они содержат черты модернистской литературы, больше всего символистской. Модернизм — это явление в литературе конца XIX — начала XX века, характеризующееся отходом от классического романа в пользу поиска нового стиля и радикальным пересмотром литературных форм.

Первый рассказ — «Бурьга». Он был написан в январе 1922 года и рассказывает историю о лешем, живущем в лесу. Жизнь в лесу — идиллическая, но однажды лесорубы приходят в лес и Бурьга вынужден убежать. Сначала он приходит в деревню, где живет бабка Кутафья. Бурьга начинает привыкать к этой жизни, но приходит барин — Бутерброт, который убеждает бабку продать ему детеныша. Бутерброт покупает Бурьгу, обращается с ним как с

собственным предметом и показывает его в цирке. Потом барин продает лешего испанской купчихе, от которой Бурьга убегает. Последний его хозяин — испанский граф. Он бьет Бурьгу насмерть и, в конце рассказа, леший уходит в направлении леса, где хочет умереть. У рассказа открытый финал, но перед тем, как Бурьга уходит, читатель узнает причину невезения Бурьги: на самом деле, когда он жил в лесу, он сделал шутку старцу леса вместе с его приятелями. Поэтому старец решил наказать леших и проклясть их.

В этом рассказе изображены два мира: мир леса и мир города. Первый — идеальный и мирный, а второй — грозный и искусственный. Между этими мирами находятся главный герой и мотив пути, который ему приходится пройти. Смысл рассказа — очевидный: несмотря на то, что читатель ничего не знает о судьбе Бурьги, он понимает, что природный мир побеждает цивилизованный мир. Еще особенность этого рассказа — это то, что он написан с употреблением техники сказа. На самом деле «Бурьга» написан с точки зрения простого крестьянина, поэтому в рассказе часто встречаются грамматические ошибки, как например «этто», «што», «ничево» и другие. Кроме того, надо заметить, что в «Бурьге» сочетаются элементы народной культуры (как упоминание о дне Ерофея) и христианской традиции (например, когда Бурьге приходится читать «богородицу»).

Второй рассказ — «Уход Хама». Леонов написал его в июле 1922 года. Здесь рассказывается история о всемирном потопе и о строительстве Ноева ковчега. Однако Леонов дает своему произведению другой смысл по сравнению со смыслом, содержащимся в библейском тексте.

Это можно заметить уже в первых страницах рассказа: Леонов на самом деле описывает (как в «Бурьге») идиллический мир: земля цветет, и все существа живут мирно. Это описание природы отличается от того, что можно читать в «Книге Бытия», поскольку в религиозном тексте отсутствует любое упоминание о мирной жизни человека. Кроме того, в «Библии» причина всемирного потопа — развращение человечества, которое вызвало гнев Бога, а в рассказе Леонова исключен факт, что человек — виноват. Леонов описал и героев по-другому: если в библейском повествовании Хама изгоняют из-за того, что он совершил грех, то у Леонова этого факта не существует. Наоборот, это Ной тот, кого находят «в любовной истоме» с женой Хама.

С началом потопа изменяется картина мира и заканчивается идиллия. Кульминация рассказа — это когда Хам поет свою «песнь о начале» в ковчеге: в этот момент читатель понимает, что Ной услышал слова не Бога, а Дьявола, поэтому он поклонился ему и исполнил его желание уничтожить всего живого на земле.

После всемирного потопа начинаются новые дни, но однажды Хам видит голого отца с его женой, и тогда Ной сердится и прогоняет сына. В конце рассказа Хам уходит (подобно Бурьгу в предыдущем рассказе) вместе с женой и сыном в надежде найти счастливое место, где поселиться, и читатель ничего больше не знает. Опять у рассказа открытый финал. Интересно заметить, что данный сюжет совершенно связан с политической и социальной ситуацией послереволюционной России, то есть с периодом, когда Леонов написал этот рассказ.

Третий роман, который был analyzed — это «Деревянная королева». Леонов его написал между июлем и августом 1922 года. Из этих трех рассказов это произведение является самым символистским.

Главный герой — Владимир Николаевич Извеков любит играть в шахматы. На самом деле рассказ открывается с описания героя, играющего партию в его квартире. На улице — метель, которая всегда изображена вместе с поющими флейтами. С этого момента начинается сон героя, и мир реальности перемещивается с миром мечты и нереальности. Извеков превращается в шахматную фигуру, но просыпается, когда понимает, что смерть — близкая. Однако сон не закончен, потому что главный герой влюбляется в шахматную фигуру — деревянную королеву. Все идет хорошо в жизни Извекова, но в один прекрасный день происходит что-то ужасное: ферзь исчезает. Скоро герой понимает, что ее взял его приятель Коломницкий. Для того, чтобы получить его королеву назад, нужно выиграть ее в шахматы. Наконец Извеков побеждает в игре и оказывается снова вместе с королевой. Еще раз ферзь пытается превратить героя в деревянную фигуру, но Извеков отказывается и напряжением жизненных сил ему удается вернуться в реальную жизнь. Кажется, что Извеков находится в реальном мире, но финал — неясный, и читатель не может определить, продолжает ли еще его мечта, или нет. Именно это противопоставление реальности и сна представляет собой один из основательных принципов символистской литературы.

В последней главе были помещены оригинальный текст трех рассказов («Бурьга», «Уход Хама» и «Деревянная королева») и их перевод на итальянский язык.

2. Vita e opera di Leonid Leonov

2.1 Origini

Leonid Maksimovič Leonov nacque a Mosca il 19 (31 secondo il calendario gregoriano) maggio 1899. Il nonno paterno, Leon Leonovič Leonov, era un uomo di origini contadine che proveniva dal villaggio di Poluchino nel governatorato di Kaluga, e che si era trasferito a Mosca nel 1882. Lì aveva deciso di intraprendere l'attività di commerciante ed era di conseguenza entrato in possesso di una piccola bottega nel quartiere di Zarjad'e.¹ Poiché il commercio procurava alla famiglia cospicui guadagni, si presupponeva che i figli proseguissero l'attività avviata dal padre. Le speranze erano riposte in particolare sul figlio Maksim Leonovič (1872-1929), tanto che gli era stato vietato di proseguire gli studi già all'età di dieci anni. Il ragazzo, tuttavia, non era portato per quel lavoro, e decise così di opporsi alla famiglia. Inizialmente aveva espresso il desiderio di diventare poeta ma, dopo alcuni tentativi di produzione di poesie poco originali, Maksim scelse di dedicarsi all'attività editoriale. Negli anni Novanta dell'Ottocento aveva dunque già iniziato a pubblicare opere di poeti contadini a lui contemporanei.² Questa non era la sua unica occupazione: egli infatti era anche un membro di spicco di una cooperativa di lavoratori, posizione che però gli costò un breve esilio nella città di Archangel'sk nel 1892. Nel breve periodo di liberalizzazione in seguito alla rivoluzione del 1905 Maksim fondò a Mosca la casa editrice *Iskra* (La scintilla). Anche questa attività gli procurò dei fastidi, poiché nel 1908 Maksim venne arrestato e condannato a diciotto mesi di detenzione. Al termine della pena non gli era più permesso di rimanere a Mosca, così Maksim decise di stabilirsi definitivamente ad Archangel'sk.³ Presto Maksim diventò uno dei maggiori membri dell'*intelligencija* locale: fondò il giornale *Severnoe utro*, di tendenza liberale, dove venivano principalmente pubblicate opere di poeti contadini.⁴

Della moglie di Maksim (e madre di Leonid) non si sa molto, se non che si chiamava Marija Petrovna Petrova (1877-1968), che insieme ebbero cinque figli (di cui Leonid era il maggiore) e che si era separata dal marito ancor prima del suo arresto finale. Leonid, difatti, non menziona mai la madre nei suoi scritti autobiografici né nelle interviste, anche se da bambino aveva vissuto con lei a Mosca e trascorso brevi periodi di vacanza nel villaggio di Eskino.⁵

¹ Boris Thomson, *The Art of Compromise: The Life and Work of Leonid Leonov, 1899-1994*, University of Toronto Press, 2001, p.3.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ivi*, p. 4.

⁵ *Ibidem*.

Il giovane Leonid Leonov frequentò dapprima il Petrovsko-Mjasnickoe gorodskoe učiliče, successivamente il noto ginnasio numero 3 di Mosca, al termine del quale ricevette la medaglia d'argento.⁶ Leonov non tardò a dar prova del suo talento nell'ambito della musica, della letteratura e delle arti figurative. Egli inoltre collaborava al giornale della scuola, per il quale scriveva storie, componeva poesie e ne disegnava le illustrazioni.⁷

Leonov iniziò a comporre versi in tenera età, arrivando addirittura a scrivere sei poesie al giorno. Questo sforzo nel produrre un gran numero di versi era forse da considerare come una forma di esercizio personale; tuttavia essi sono prova del fatto che il giovanissimo Leonov aveva già assimilato gli strumenti della produzione letteraria. I suoi modelli erano inizialmente Nekrasov e Surikov, mentre a partire dal 1916 egli si ispirò alla tradizione simbolista russa, facendo riferimento soprattutto a Belyj e Blok.⁸ Ruolo chiave lo svolse in questo caso il padre: Leonov, infatti, soleva trascorrere le vacanze estive dal padre ad Archangel'sk, dove lavorava come correttore di bozze per *Severnoe utro*. È proprio in questo giornale che il 4 luglio 1915 comparve a stampa la prima poesia di Leonov, *Večerom* (Di sera), la quale segnò il suo esordio letterario. Successivamente iniziò a pubblicare articoli e recensioni relative alla letteratura e al teatro. Sempre ai tempi del liceo Leonid compose la fiaba pasquale *Car' i Afonja* e i racconti tra cui *Professor Ivan Platonič*, *Sonnaja Jav'* e *Toska*.⁹

Terminato il liceo, nel 1918, Leonov partì per andare dal padre ad Archangel'sk, con l'intenzione di tornare a Mosca in autunno per studiare medicina all'università.¹⁰ Durante questi mesi di permanenza ad Archangel'sk, è noto che Leonov lavorò per i giornali *Severnoe utro* e *Severnyj den'*, strinse amicizia con alcuni esponenti della vita letteraria e artistica russa del luogo come l'artista Stepan Pisachov e lo scrittore Boris Šergin. Inoltre, l'incontro con i cosiddetti poeti del nord (*poety severa*) aprirono a Leonov il mondo delle tradizioni russe, della natura intatta dall'uomo e della narrativa epico-simbolica delle *byline*.¹¹

Nel frattempo aveva preparato per la stampa una raccolta con le sue prime poesie e, nel giugno 1918, furono pubblicate una manciata di poesie e racconti sulla stampa locale. Tuttavia i suoi piani vennero vanificati dalla situazione politica russa di quegli anni. In agosto, infatti, scoppiò la guerra civile, che costrinse Leonov a rimanere confinato ad Archangel'sk. Le sue poesie non furono più ristampate, e quelle non pubblicate furono bruciate dall'autore stesso nel 1920: Leonov ammise successivamente

⁶ T. M. Vachitova, *Leonov Leonid Maksimovič*, in: *Russkaja literatura 20. veka. Prosaiki, poety, dramaturgi: biobibliografičeskij slovar'*, OLMA-PRESS Invest, Moskva 2005, p. 416.

⁷ Thomson, op. cit., p. 4.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Vachitova, op. cit., p. 416.

¹⁰ Thomson, op. cit., p. 5.

¹¹ Vachitova, op. cit., p. 416.

che avrebbe voluto distruggere anche quelle pubblicate.¹² Due eventi, databili in questo periodo, segnarono profondamente la vita di Leonov. Il primo evento fu l'obbligo, a cui fu sottoposto da parte dei bianchi, di entrare in una scuola militare; il secondo fu la proposta (rifiutata) da parte di un capitano inglese di evacuare insieme al padre.¹³ Lo studioso Boris Thomson ha affermato che, *mutatis mutandis*, questi eventi potrebbero essere paragonati alle esperienze dolorose che fece Dostoevskij nel 1849, quando fu arrestato, condannato a morte e graziato solamente una volta arrivato al patibolo: “ [...] the profound and lasting consequences of these two incidents for his life and work may be compared to Dostoevsky's involvement with the Petrashevtsy and near-execution in 1849.”¹⁴

Dopo la liberazione di Archangel'sk dai bianchi e il ritorno dei bolscevichi, Leonov maturò delle scelte importanti dal punto di vista socio-politico: nell'estate del 1920 si arruolò volontario nell'Armata rossa. Fu così collocato nella quindicesima divisione di fanteria e chiamato a combattere nel sud della Russia.¹⁵ Inoltre divenne il direttore del giornale comunista *Krasnaja vest'*, per il quale scrisse articoli, slogan di propaganda, *feuilletons* e poesie sotto gli pseudonimi di Maksim Laptev, Laptev, Lapot', oppure firmati con le iniziali L., M. L., M. L-ov.¹⁶

A questo periodo ad Archangel'sk fanno particolare riferimento due opere di Leonov, se pur composte in un periodo successivo: il racconto *Belaja noč'* del 1928 (di cui si parlerà successivamente) e il poema *Zapis' na bereste*, scritto nel maggio 1923 ma pubblicato solamente nel 1926. Per quanto concerne l'opera *Zapis' na bereste*, si tratta di un poema di 256 versi in *dol'nik* che racconta la storia di tre ragazzi, Andrej e due amici, che decidono di scappare dalla loro cittadina verso il nord della Russia, non ancora devastato dalle conseguenze della rivoluzione. Una volta arrivati, però, i protagonisti vengono reclutati dagli interventisti stranieri, motivo per cui decidono di fuggire e stanziarsi in una idillica foresta. Il loro destino è segnato dall'arrivo di una giovane donna, che seduce i protagonisti mettendoli l'uno contro l'altro, fino a che non rimarrà Andrej da solo. È interessante notare che molte opere di Leonov composte tra il 1918 e il 1920 sviluppano la tematica del tentativo fallito di evadere dalla rivoluzione *tout court*; spesso, inoltre, questo tema è accompagnato dall'immagine dell'amore tradito di una giovane donna (che potrebbe, tra le varie interpretazioni proposte, rappresentare la Russia). Un'altra caratteristica che bisogna rilevare nel poema è l'uso di un narratore che non coincide con l'autore stesso. Questo espediente letterario, più volte impiegato da Leonov, serve per separare le azioni e i pensieri dei personaggi dal giudizio dell'autore stesso.¹⁷

¹² Thomson, op. cit., pp. 5-6.

¹³ *Ivi*, p. 6.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Vachitova, op. cit., p. 416.

¹⁷ Thomson, op. cit., pp. 6-9.

La partecipazione militare di Leonov nella guerra civile, per quanto breve (durò in totale solamente un mese), gli consentì di assistere all'assalto di Perekop che pose fine alla guerra stessa. La maggior parte del tempo, invece, Leonov la trascorse lavorando come correttore e assistente generale del giornale *Bjulleten'*, del quale divenne caporedattore in ottobre. Ad aprile 1921 venne trasferito al giornale principale dell'armata del sud, *Krasnyj boec*, e poco dopo a Mosca, dove fondò un altro organo di stampa del presidio locale, *Krasnyj voin*. I contributi per questi giornali (poemi e articoli) erano chiaramente di natura propagandistica e mostravano l'influenza di Majakovskij e Bednyj: in essi è costante il tentativo di Leonov di ricordare ai lettori che, nonostante la guerra civile fosse finita, la vittoria sul capitalismo doveva ancora essere raggiunta. Altro tema trattato riguarda gli obiettivi raggiunti dalla rivoluzione, come l'aumento del numero di ospedali, teatri, scuole e biblioteche.¹⁸

È evidente quindi che, nel corso di questi due decenni appena presi in esame, Leonov aveva vissuto molte esperienze eterogenee: era vissuto a Mosca e in un villaggio di campagna, aveva visto la città di Archangel'sk sia sotto l'intervento degli alleati che sotto quello dei bolscevichi; aveva, infine, avuto modo di conoscere il mondo militare e quello artistico-letterario. Non è pertanto casuale il fatto che le produzioni immediatamente successive siano altrettanto legate a questi temi.¹⁹

Quando nel maggio del 1921 Leonov fu trasferito a Mosca, riuscì a ottenere il permesso di studiare all'Università. Inizialmente era indeciso se scegliere la facoltà di arte o lettere, tuttavia non ottenne il posto né alla facoltà di filologia dell'Università di Mosca, né allo Vchutemas (la scuola d'arte di Mosca). Nel frattempo trovò un posto di lavoro presso l'officina di un fabbro, mantenendo però anche l'occupazione di caporedattore. È in questo clima che Leonov iniziò a leggere alla sua cerchia ristretta di amici i racconti che componeva durante il tempo libero. In particolare, strinse legami con il pittore Ostrouchov (che sarebbe a breve diventato un mentore per Leonov), con lo storico Geršenzon e con l'editore Michajl Sabašnikov. Con quest'ultimo Leonov firmò un sodalizio piuttosto duraturo, e nel 1923 ne sposò la figlia Tat'jana (1903-1979).²⁰

¹⁸ *Ivi*, p. 10.

¹⁹ *Ivi*, p. 11.

²⁰ *Ivi*, pp. 11-12.

2.2 1922: il debutto letterario

Il 1922 è considerato da Leonov stesso come l'anno del suo primo vero esordio letterario: in quell'anno comparve a stampa il racconto *Buryga* nell'almanacco *Šipovnik*. A questo racconto ne seguirono poco dopo altri dieci, tutti scritti in quello stesso anno, ma non tutti furono pubblicati all'epoca. Ciò che è rilevante è il fatto che entro la fine di quell'anno il suo nome era ormai diventato noto presso un pubblico ristretto ma ben selezionato di lettori.²¹

C'erano tutti i presupposti favorevoli all'ascesa di Leonov, sia nell'ambiente letterario che in quello politico e socio-economico. Da una parte, molti scrittori della vecchia generazione erano scomparsi dalla scena (Blok era deceduto, Belyj, Bunin, A. N. Tolstoj erano emigrati), e gli scrittori emergenti potevano così trovare spazio per esprimersi; dall'altro anche le possibilità di pubblicare opere erano maggiori, ora che con la NEP erano riapparse piccole case editrici come quella di Sabašnikov.²² Sarà importante ricordare che in seguito alla comparsa di questi racconti, Leonov fu definito un "compagno di strada", ovvero uno dei *popučiki*. Tuttavia, secondo lo studioso di letteratura russa Ivan Verč, "tale definizione non era legata a una qualche realtà letteraria, bensì a precise pretese e necessità politico-pragmatiche."²³

Gli undici racconti che Leonov scrisse nel 1922 (di cui bisogna menzionare, oltre a *Buryga*, *Derevjannaja koroleva* e *Uchod Chama*, dei quali si parlerà in modo più approfondito in seguito) sono molto interessanti per la varietà degli stili adottati e dell'ambientazione riprodotta. Essi sono ricchi di esotismo orientale, si rifanno alle fiabe di Andersen e Hoffmann, all'agiografia, all'epos mongolico (*Tuatamur*), alla novella simbolista (*Derevjannaja koroleva*), al poema persiano (*Chalil'*). I protagonisti possono essere uno spirito maligno (*Buryga*) o una bambola (*Valina kukla*), un personaggio biblico (*Uchod Chama*) o una carta da gioco (*Bubnovyj valet*). Occorre notare che nessuno di questi racconti è scritto nella lingua russa letteraria standard: il lettore stesso si accorge immediatamente che si tratta di un modo dell'autore di giocare con gli stili e le forme narrative. In particolare, un espediente largamente utilizzato da Leonov è quello dello *skaz*, una tecnica che consiste nel far raccontare la storia da un personaggio del racconto stesso, con la possibilità quindi anche di introdurre un linguaggio regionale o non convenzionale.²⁴ Per citare un esempio, un largo uso dello *skaz* lo si può rilevare nei racconti *Chalil'* e *Tuatamur*, che hanno al centro le vicende di personaggi principali provenienti rispettivamente dal mondo persiano e mongolico, riportata dai protagonisti stessi. Tali racconti sono talmente intrisi del lessico relativo al luogo di ambientazione,

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ Ivan Verč, *Leonid Leonov (nato nel 1899)*, in: *Storia della letteratura russa*, vol. III, Einaudi, Torino 1990, p. 114.

²⁴ Thomson, op. cit., p. 14.

che finiscono per essere pressoché incomprensibili in certi punti. Leonov, che era solito revisionare più e più volte le sue opere, decise di introdurre dei glossari per guidare il lettore nella comprensione dei due testi.²⁵ Tuttavia, come afferma Thomson, “[...] this rather misses the point, for the exotic and incomprehensible language is part of the story’s effect.”²⁶

Questi racconti del 1922 sono importanti anche per il fatto che accennano a temi che tormenteranno Leonov per tutta la vita. Pertanto potrebbero essere suddivisi in due gruppi principali: un primo grande gruppo che comprende *Valina kukla* (La bambola di Valja), *Derevjannaja koroleva* (La regina di legno), *Buryga*, *Bubnovyj valet* (Il fante di quadri), *Šlučaj s Jakobom Pigunkom* (Il caso di Jakov Pigunok), *Konec melkogo človeka* (La fine di un uomo meschino), *Chalil’*, *Tuatamur*, scritte nei primi otto mesi dell’anno, e un secondo gruppo che comprende *Gibel’ Egoruški* (La fine di Egoruška), *Petušichinskij prolom* (La breccia di Petušichino), e *Zapisi nekotorych episodov, sdelannye v gorode Goguleve Andreem Petrovičem Kovjakinym* (Alcuni episodi annotati da Andrej Petrovič Kovjakin nella città di Gogulev), che però è stato composto tra la fine del 1922 e l’inizio dell’anno successivo. Il racconto *Uchod Chama* (La partenza di Cam) rappresenta invece un nucleo a sé stante.²⁷

I racconti appartenenti al primo gruppo iniziano con la vita di un personaggio, che sia una persona o un animale, collocata in uno stato precedente al peccato originale, che viene però, nel corso delle vicende, corrotta o distrutta dall’arrivo di un antagonista. Questo accade, per esempio, in *Gibel’ Egoruški*, dove l’esistenza idilliaca del protagonista e della moglie viene bruscamente interrotta dall’arrivo del monaco Agapij, oppure in *Tuatamur*, quando l’eroe della narrazione scopre che la sua fama non conta nulla, poiché Ytmar’ non ricambia il suo amore. Questa perdita dell’Eden non è disastrosa solamente per gli eroi dei racconti, ma si riflette a livello globale su tutto il genere umano, in modo tale che ogni uomo sulla Terra prova quel senso di alienazione dal resto del mondo, dopo essere stato cacciato dal paradiso per un peccato che ha commesso. L’alienazione si verifica dunque tra uomo e natura.²⁸

Bisogna notare che il mito del paradiso perduto è un tema a cui sono state dedicate numerosissime opere letterarie, non solo nell’ambito della letteratura russa. Ciò che però merita considerazione è la motivazione che sta alla base della scelta di questa tematica in Leonov. Thomson, infatti, ritiene che questo mito sia una risposta agli eventi rivoluzionari che Leonov visse in prima persona, e al ruolo che egli ebbe in essi. Il paradiso perduto diventa quindi una metafora della rivoluzione, ed entrambi

²⁵ *Ivi*, p. 15.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ivi*, p. 16.

²⁸ *Ivi*, pp. 16-17.

questi eventi, secondo Leonov, cambiano inevitabilmente l'uomo, che sia in maniera positiva o negativa.²⁹

Se nei racconti appartenenti al primo gruppo il tema rivoluzionario non compare (anche se come si è visto è sicuramente sottinteso), in quelli del secondo gruppo esso è presente in maniera esplicita. Pian piano emerge nella produzione letteraria di Leonov uno dei temi più importanti, il ruolo della rivoluzione nella storia della Russia. Questo lo si può chiaramente notare in *Petušichinskij prolom*, che tratta effettivamente della storia di un villaggio nel nord della Russia dalla sua fondazione fino all'arrivo del bolscevichi. L'unità primordiale, che caratterizza la vita degli abitanti di questo villaggio, è distrutta nel 1917, con l'abdicazione dello zar e la proclamazione dell'ateismo. Il climax della storia viene raggiunto nel momento in cui i comunisti aprono lo scrigno con le reliquie del fondatore del monastero: il trovarsi di fronte a delle semplici ossa marce lascia in loro un profondo senso di sbigottimento. La domanda, che l'autore pone implicitamente in questa scena, è se il comunismo possa proporre una serie di valori che riescano a sostituire quelli precedenti. Il verdetto dell'autore è inequivocabile: non ha importanza se l'istituzione ecclesiastica è corrotta o se le reliquie sono il prodotto di un inganno, la cultura è più importante dei resti materiali di un santo. Per Leonov i valori appartenenti alla sfera culturale e religiosa sono impersonati dagli individui stessi, e non dalle istituzioni. Notevole è che tutto questo viene raccontato dal punto di vista di due persone semplici, un apicoltore e il suo nipote, che rappresentano la massa popolare vittima di questa serie di sconvolgimenti rivoluzionari.³⁰

Un altro tema trattato da Leonov è la questione della natura. L'uomo è sia parte della natura, sia in contrasto con essa, poiché la natura agisce in modo amorale, senza preoccuparsi del destino dell'uomo. La potenza delle sue azioni, inoltre, non fa che mettere in risalto la banalità dell'esistenza umana: non a caso, i tentativi da parte dell'uomo di affermare i propri valori morali e culturali è destinato a fallire e, anzi, tali valori potrebbero ritorcersi contro. La natura è inoltre ambigua, rappresenta la libertà e la bellezza, ma anche l'irrazionalità e la crudeltà. È alquanto interessante notare che nelle opere di Leonov del primo periodo la natura è spesso rappresentata con l'immagine di un lupo. L'equivalente umano del lupo è invece il ladro, altra immagine ricorrente nella prosa giovanile di Leonov.³¹

Il racconto *Konec melkogo človeka* è ambientato, diversamente da quello appena preso in esame, in una grande città nel 1920 e, in particolare, l'azione è collocata nell'appartamento di un intellettuale,

²⁹ *Ivi*, p. 17.

³⁰ *Ivi*, pp. 17-19.

³¹ *Ivi*, pp. 21-22.

protagonista delle vicende narrate. Leonov sceglie di trattare il tema della cultura, vista ancora una volta in termini di contrapposizione tra rottura e continuità col passato. Non bisogna dimenticare che per molti comunisti la vecchia cultura sembrava ormai corrotta, da eliminare. Quest'atteggiamento, d'altra parte, era malvisto da molti intellettuali russi. *Konec melkogo čeloveka* riflette entrambi i punti di vista appena menzionati. La rivoluzione rappresenta la fine della cultura così come la conosciamo, ma allo stesso tempo non sembra essercene un'altra che possa adeguatamente sostituirla.³²

La trama del racconto è presto detta: il protagonista, Fëdor Licharev, passa tutta la vita a comporre la sua opera più grande, uno studio sul clima nel periodo del Mesozoico. Quest'opera, che rappresenta la continuità col passato, viene interrotta a causa della rivoluzione, che priva il protagonista delle condizioni materiali necessarie alla sopravvivenza. Non riuscendo a trovare i mezzi per finire il suo libro, Licharev impazzisce e, alla fine della storia, brucia il manoscritto. Evidente è il fatto che il protagonista preferisca rifugiarsi nel passato (addirittura nella preistoria) piuttosto che pensare al presente. Questo potrebbe essere visto come una sorta di parodia dell'intellettuale russo che prova nostalgia per il passato prerivoluzionario. Anche in questo caso compare l'immagine del ladro, incarnata dal protagonista stesso: questi, all'inizio del racconto, è intenzionato a comprare una testa di cavallo; tuttavia il venditore si spaventa talmente tanto nel vedere l'aspetto del suo potenziale acquirente che scappa via, e il protagonista approfitta della situazione per rubare l'oggetto e portarselo a casa indisturbato. Licharev cerca di giustificare le sue azioni, incolpando le privazioni fisiche a cui è sottoposto, la fame, la povertà, ma in realtà il furto di un oggetto di poco valore rivela il totale egoismo che contraddistingue il protagonista.³³

In questo racconto Leonov introduce per la prima volta il tema della città moderna, contrapposto a quello della campagna. La campagna è associata al passato della Russia e alle sue tradizioni culturali, vicina al mondo delle leggende e del magico, mentre la città è associata al mondo realistico, razionale. Leonov, però, a differenza di altri autori a lui contemporanei, non associa la città al polo negativo e la campagna a quello positivo, anzi: l'autore guarda a entrambe le realtà con simpatia. Questa è peraltro la prima opera di Leonov che mostra una diretta influenza di Dostoevskij: man mano che produrrà altre opere ambientate nella città, esse mostreranno sempre più l'impronta dello scrittore ottocentesco. In questo racconto la presenza di Dostoevskij è evidente soprattutto nella pazzia del protagonista e nella scelta di distruggere ciò che di buono ha creato, ovvero il suo manoscritto.³⁴

³² *Ivi*, pp. 22-23.

³³ *Ivi*, p. 23.

³⁴ *Ivi*, pp. 24-26.

Il racconto *Zapisi nekotorych episodov, sdelannye v gorode Goguleve Andreem Petrovičem Kovjakiny*, scritto mediante uso dello *skaz*, è l'insieme delle memorie di un grafomane di provincia a partire dagli ultimi anni del diciannovesimo secolo, che si interrompono nel 1920. Ancora una volta il cambiamento operato dalla storia, in questo caso rappresentato dall'evoluzione della scienza moderna, distrugge ogni tipo di certezza.³⁵

Per riassumere, ciò che caratterizza tutti questi racconti relativi all'anno 1922 è proprio la presenza della categoria del cambiamento, e Leonov cerca in ognuno di essi di mettere in rilievo gli effetti traumatici che esso comporta. La maggior parte delle volte si tratta di un mutamento che proviene dall'esterno, mentre i personaggi sono visti come vittime che subiscono in modo passivo le conseguenze di questi incomprensibili eventi. Il mito del paradiso perduto, come si è precedentemente detto, è universale, e può trovare numerose interpretazioni: può essere visto come simbolo dell'ostilità dell'autore nei confronti della modernità, della rivoluzione, dell'urbanizzazione e industrializzazione del Paese, o può semplicemente essere un grido di dolore per l'innocenza perduta. Inoltre, questi racconti sono caratterizzati da un senso di indeterminatezza che fa sì che la maggior parte delle storie narrate abbiano un finale aperto. Ci sono poche cose definitive in questi racconti; persino la morte è vista come un'esperienza traumatica, ma che fa comunque parte del cerchio della vita e come tale non definitiva. Il protagonista è spesso vulnerabile agli attacchi del mondo esterno, ma non è quasi mai distrutto da essi. E questa risposta agli eventi che accadono nella sua vita acquista grande valore. Questi attacchi prendono varie forme nei racconti: sono rappresentati dal contrasto tra città e campagna, tra passato e presente in continuo cambiamento, dal conflitto tra etica e interesse personale. Di fronte a queste coppie di temi in antitesi tra loro, Leonov sembra non far emergere la sua opinione personale. Non a caso, solitamente nelle ultime pagine dei racconti il lettore sembrerebbe essere arrivato a una qualche conclusione di questi conflitti, mentre invece a una lettura più approfondita diventa evidente che quasi tutti questi finali sono aperti, e questi problemi non sono risolti.³⁶

Per concludere, sarà utile fare un'ulteriore precisazione in merito alla comparsa a stampa di questi racconti. Benché scritti nel giro di appena un anno, essi furono pubblicati nell'arco di quattro anni circa, quindi non immediatamente in seguito alla loro stesura. Sono importanti, se analizzati dal punto di vista dell'opera di Leonov in generale, poiché contengono il germoglio di temi che Leonov

³⁵ *Ivi*, p. 27.

³⁶ *Ivi*, pp. 30-31.

svilupperà nei suoi romanzi negli anni successivi. A partire da questo momento, ebbe inizio per Leonov l'ascesa al successo.³⁷

2.3 Gli anni 1924-1927: *Barsuki e Vor*

Col passare del tempo Leonov iniziò pian piano ad abbandonare il genere del racconto in favore di opere più lunghe e complesse. Il 1924 è l'anno di debutto del suo primo romanzo, *Barsuki* (I tassi). L'azione copre un periodo che va dal 1909 al 1922, anche se gran parte di essa si svolge tra l'estate del 1921 e la primavera del 1922. Il romanzo è diviso in tre parti. La prima parte si apre con la presentazione dei personaggi principali, il ragazzo Egor Brykin e i due giovani fratelli, Semën e Pavel, provenienti dal mondo contadino. Brykin accompagna questi ultimi a Mosca, in particolare a Zarjad'e (si ricordi l'importanza del luogo dal punto di vista della biografia dell'autore) per aiutarli a trovare un impiego. I due fratelli reagiscono in modo diverso a questo cambiamento dalla campagna alla città: Pavel si ribella e fugge in una fattoria, mentre Semën cerca di farsi strada in questo nuovo mondo. La prima parte si interrompe bruscamente con lo scoppio della guerra. La seconda parte del romanzo vede Semën e Brykin tornare dalla guerra civile nel loro villaggio natio. Presto però giungono i bolscevichi per requisire il grano dal villaggio. Semën protesta contro questa scelta e per questo è costretto a fuggire nella foresta, dove diventa il capo di una banda di contadini in rivolta, che prendono il nome di "tassi". Brykin, invece, vuole vendicarsi dell'amante di sua moglie, ma uccide per errore un comunista e scappa, come Semën, dal villaggio. Alla fine del romanzo, i contadini si uniscono alla banda dei "tassi" e inizia una rivolta contro il potere istituzionale. Semën si arrende ai comunisti, e scopre che a capo di essi non c'è altri che suo fratello Pavel.³⁸

I presupposti per la stesura del romanzo potrebbero essere rintracciati nel racconto *Zapisi nekotorych episodov, sdelannye v gorode Goguleve Andreem Petrovičem Kovjakinyim*, del quale *Barsuki* sembrerebbe essere il seguito. Il racconto, infatti, narra le avventure dell'eroe dopo la sua scomparsa da Gogulev e la sua trasformazione in capo di una rivolta antisovietica. Il romanzo in realtà cambia poi direzione nel corso della sua stesura, e alla fine la struttura, la trama e lo stile recano solo delle tracce del racconto del 1923.³⁹ È tuttavia interessante notare come questi racconti precedenti abbiano esercitato una notevole influenza sull'opera di Leonov.

Anche in questo romanzo vengono affrontate alcune tematiche che meritano di essere menzionate. Un tema di un certo rilievo è quello della condizione di orfano: sono orfani, infatti, i due fratelli

³⁷ *Ivi*, p. 31.

³⁸ *Ivi*, pp. 32-33.

³⁹ *Ivi*, p. 33.

Semën e Pavel, che vengono prelevati dai loro genitori e strappati dalla loro infanzia per essere portati a Mosca. Questo tema è un motivo comune della letteratura degli anni Venti, poiché fa riferimento a un problema sociale molto diffuso all'epoca, causato chiaramente dalla guerra civile.⁴⁰

Un altro tema è quello della contrapposizione tra campagna e città. La città, costruita in ferro e pietra, è rumorosa, aggressiva; la campagna, le cui case sono ancora in legno, è simbolo di pace e tranquillità. L'antagonismo tra il naturale e l'artificiale è quindi evidente. È necessario però sottolineare che in Russia questo contrasto tra la vita in campagna e quella in città rientra pienamente nel dibattito ottocentesco tra slavofili e occidentalisti: in questo senso, la campagna è l'emblema della Russia, la città, invece, dell'occidente. Leonov, che era vissuto sia in campagna che in città, sembra simpatizzare per entrambe nel romanzo; ma in realtà non fa altro che presentare una versione piuttosto stereotipata di entrambe.⁴¹ Infine, anche in *Barsuki* torna il simbolo del lupo, con il quale viene identificata la banda di contadini rivoluzionari.⁴² Dal punto di vista dello stile, invece, si può notare ancora una volta l'utilizzo dello *skaz*.⁴³

La conclusione del romanzo è piena di significato: il lettore comprende che la rivolta dei contadini sarà fallimentare, eppure non può non simpatizzare per Semën, l'eroe antibolscevico. La parte finale, tuttavia, è incentrata su una descrizione degli elementi naturali, come il vento, la luna e le nuvole, da cui deriva un senso di pace.⁴⁴

Per quanto riguarda la ricezione di questo romanzo, i critici ne scrissero soprattutto recensioni positive, esaltandone l'abilità della composizione e l'uso del linguaggio. Anche Gor'kij scrisse parole di elogio a Leonov:

Сердечно благодарю Вас за «Барсуков». Это очень хорошая книга: она глубоко волнует. Ни на одной из 300 ее страниц я не заметил, не почувствовал той жалостной, красивой и лживой «выдумки», с которой у нас издавна принято писать о деревне, о мужиках. В то же время Вы сумели насытить жуткую, горестную повесть Вашу той подлинной выдумкой художника, которая позволяет читателю вникнуть в самую суть стихии, Вами изображаемой. Эта книга – надолго.⁴⁵

Nel 1927 Leonov pubblicò il secondo romanzo, *Vor* (Il ladro). Si tratta della prima opera ambientata nell'epoca contemporanea all'autore stesso: l'azione infatti si svolge tra l'autunno del 1924 e la

⁴⁰ *Ivi*, p. 34.

⁴¹ *Ivi*, p. 35.

⁴² *Ivi*, p. 39.

⁴³ *Ivi*, p. 45.

⁴⁴ *Ivi*, p. 42.

⁴⁵ Gor'kij Maksim, *Sobranie sočinenij v 30 tomach*, tomo 29, p. 441, citato in Vachitova, op. cit., p. 417.

primavera del 1926. Ancora una volta, la città di Mosca costituisce lo sfondo su cui è narrata la storia. Il titolo fa riferimento al protagonista del romanzo, Dmitrij Vekšin, un ex commissario dell'armata rossa, espulso dal Partito per aver assassinato un ufficiale dei bianchi che aveva ucciso il suo cavallo. Vekšin dunque prende la strada della criminalità e diventa uno dei capi più in vista della malavita. Anche questo romanzo affronta diversi temi cari a Leonov e presenta una vasta gamma di personaggi e ambientazioni, anche se la maggior parte di essi proviene dal mondo criminale, il che consente all'autore di fare un largo uso dello *slang* parlato dai ladri.⁴⁶

Vor è diviso in quattro parti, che contrassegnano i vari stadi dell'odissea spirituale del protagonista: all'inizio sono esposti i fatti relativi alla sua gioventù, alla carriera militare, e ai primi atti criminali. La seconda parte vede il rilascio di Vekšin dalla prigione e la prosecuzione della sua vita da delinquente, mentre nella terza parte il protagonista inizia a riconoscere l'insensatezza della sua vita criminosa: fa ritorno nel suo villaggio natale nella speranza di riscoprire le sue radici, cerca conforto nell'amore (per sua sorella, per l'amica d'infanzia, e infine per Dio), ma i tentativi sono vani. Alla fine del romanzo, Vekšin parte dirigendosi verso oriente per lavorare come taglialegna, nella speranza di redimere la sua anima attraverso lo sforzo fisico.⁴⁷

Tra gli eventi qui brevemente riassunti, ci sono due fatti cruciali, di cui è colpevole il protagonista, che vale la pena mettere in rilievo: il primo è, ovviamente, l'assassinio di un ufficiale dei bianchi, l'altro è il tradimento dell'amica d'infanzia Maša. Dopo lo scoppio della rivoluzione quest'ultima non solo aiuta Vekšin a scappare all'arresto, ma si propone anche di fuggire con lui. Il protagonista la respinge e, poco dopo, Maša rimane vittima di violenza sessuale. Entrambi gli avvenimenti non possono non essere ricollegati alla prosa di Dostoevskij: l'assassinio dell'ufficiale è un chiaro rimando all'assassinio della vecchia usuraia da parte di Raskol'nikov in *Prestuplenie i nakazanie* (Delitto e castigo), poiché entrambi i protagonisti cercano di trovare una giustificazione al crimine commesso. Analogamente, il tradimento di Maša rievoca la storia di Nastas'ja Filippovna nel romanzo *Idiot* (L'idiota): Tockij fa di Nastas'ja la sua amante per anni, salvo poi rifiutarla e tentare di darla in sposa a un altro uomo. Non deve sorprendere che Leonov abbia cercato di costruire un parallelismo con i personaggi dostoevskiani: si è infatti già descritto il ruolo che Dostoevskij aveva iniziato a rivestire nella vita letteraria e spirituale di Leonov. Per Leonov, l'autore di *Delitto e castigo* è l'unico ad essere penetrato così profondamente nell'analisi dei problemi caratteristici della società moderna. L'influenza di Dostoevskij è evidente non solo nella costruzione dei personaggi, ma anche nelle tecniche narrative come, per esempio, il fatto che il protagonista sia sommerso costantemente

⁴⁶ Thomson, op. cit., pp. 52-53.

⁴⁷ *Ivi*, p. 54.

da dubbi, pensieri in antitesi l'uno con l'altro, che fanno riferimento a sfere diverse della moralità. Analogamente a Raskol'nikov, anche Vekšin tenta di motivare il crimine commesso come un atto di autoaffermazione, ma è poi tormentato dalla contraddizione tra la giustificazione dell'assassinio di un nemico della società e il disgusto per ciò che ha fatto. Parallelamente, la crisi interiore degenera in malattia e il romanzo si conclude con la promessa del protagonista di redimersi attraverso il duro lavoro.⁴⁸

Per quanto riguarda l'uso di particolari tecniche letterarie, si può notare che in *Vor* Leonov non si limita a narrare la storia solamente dal punto di vista dell'autore, bensì si avvale anche di un personaggio, lo scrittore Fëdor Fëdorovič Firsov, per far raccontare le vicende del romanzo da un altro punto di vista, in modo tale che il lettore possa giudicare le azioni e i pensieri dei personaggi in maniera autonoma.⁴⁹ Infine, anche in questa opera possono essere rintracciati elementi dello *skaz*, il cui uso, tuttavia, nei romanzi successivi andrà via via scomparendo.⁵⁰

Come per il romanzo precedente, *Barsuki*, Gor'kij non tardò a esprimere le sue lodi per *Vor*. La maggior parte delle critica sovietica, invece, non accolse molto bene questo romanzo.

Tra le varie recensioni che comparvero all'epoca, quelle di D. Gorbov e A. Ležnev contenevano l'accusa a Leonov di aver scritto un libro artefatto sia nel contenuto che nello stile. I critici di sinistra, invece, gli rimproverarono di essersi sforzato più di descrivere i problemi sociali che di proporre una soluzione ad essi.⁵¹ Particolarmente dure furono le parole dello studioso di letteratura russa V. Kirpotin: “В «Воре» у Леонова явно отрицательное отношение к советской действительности эпохи нэпа и к политике большевиков, к политике рабочего класса”.⁵²

È doveroso notare che Leonov tornò a revisionare l'opera trent'anni più avanti, nel 1959, per produrne “una variante epurata di alcuni elementi che riguardavano gli anni Venti e la NEP e ristrutturata sia rispetto al personaggio principale, Mit'ka Vekšin, sia rispetto all'atteggiamento critico del narratore principale verso Firsov.”⁵³ Va da sé che il clima sociale, politico e letterario dell'Unione Sovietica era ormai completamente cambiato rispetto agli anni Venti. Quello che sorprende è che si tratta quasi di un'opera diversa: “La nuova versione del romanzo rappresenta lo sconvolgimento totale delle posizioni artistiche precedentemente realizzate. Più che di una nuova versione si deve perciò parlare di un nuovo romanzo che è, fra l'altro, l'unico dei due a essere stato accettato dall'ufficialità letteraria

⁴⁸ *Ivi*, pp. 56-57.

⁴⁹ *Ivi*, pp. 58-59.

⁵⁰ *Ivi*, p. 75.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Vachitova, op. cit., p. 418.

⁵³ Aleksandar Flaker, “Eretici” e sognatori: le nuove strutture della narrativa, in: *Storia della civiltà letteraria russa*, vol. II, Utet, Torino 1997, p. 292.

sovietica e inserito nelle opere complete dello scrittore.”⁵⁴ Non si è trattato quindi di censurare singole parti o capitoli che potessero risultare scomodi al regime; si è trattato di riscrivere l’opera, togliendo tutti gli elementi letterari che la collegavano alla tradizione del romanzo russo e a Dostoevskij. I personaggi, nel nuovo romanzo, passano da essere indefiniti a essere univoci, trattati come verità oggettive su cui l’autore ora ha preso una posizione inequivocabile.⁵⁵

Tra giugno e luglio del 1927 lo scrittore viaggiò per l’Europa, dove ebbe l’occasione di visitare città come Berlino, Venezia, Vienna Varsavia, e soggiornare per tre settimane nella casa di Gor’kij a Sorrento.⁵⁶ In questo stesso periodo Leonov lavorò ad alcune opere minori, legate per tematica e stilistica al romanzo *Vor*. Tra il 1927 e il 1928 scrisse dunque la *povest’ Provinzial’naja istorija* (Una storia provinciale), risalente al 1927, il ciclo di racconti *Neobyknovennye rasskazy o mužikach* (Storie insolite di contadini), composti tra il 1927 e il 1928, e un’altra *povest’*, *Belaja noč’* (Notte bianca), del 1928. Inoltre, sempre alla fine degli anni Venti Leonov si dedica alla drammaturgia, e compone la *pièce Untilovsk* (1927), la versione teatrale del racconto *Provinzial’naja istorija* (1928), e infine l’opera teatrale *Usmirenje Badadoškina* (La sottomissione di Badadoškin, del 1929), che attirarono l’attenzione dei più importanti teatri di Mosca.⁵⁷ Queste opere, seppur meno rilevanti rispetto ai grandi romanzi di Leonov, sono meritevoli di essere menzionate poiché segnano il passaggio dallo stile letterario degli anni Venti, orientato prevalentemente verso lo *skaz*, allo stile più maturo dei decenni successivi, caratterizzato dall’uso esclusivo di un narratore onnisciente.⁵⁸

Per quanto riguarda la raccolta *Neobyknovennye rasskazy o mužikach*, si tratta di cinque racconti, di cui solamente i primi tre furono pubblicati su *Zvezda: Temnaja voda* (Acqua nera), *Vozvraščenie Kopyleva* (Il ritorno di Kopylev), *Priključenje s Ivanom* (Un’avventura di Ivan), *Brodjaga* (Il vagabondo) e *Mest’* (Vendetta).⁵⁹ Questi racconti, ambientati in villaggi contadini della Russia postrivoluzionaria, si caratterizzano per il modo in cui sono rappresentati i personaggi: essi infatti “sono l’ultimo tentativo di Leonov di calarsi nei problemi effettivi del suo tempo senza idealizzazioni e visioni trionfalistiche.”⁶⁰ Il tema ricorrente del protagonista rifiutato dalla società in cui vive può essere interpretato come un riflesso della svalutazione progressiva dell’individuo nella società sovietica.⁶¹

⁵⁴ Verč, op. cit., p. 119.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Vachitova, op. cit., p. 418.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Thomson, op. cit., p. 97.

⁵⁹ *Ivi*, pp. 89-92.

⁶⁰ Verč, op. cit., p. 120.

⁶¹ Thomson, op. cit., p. 92.

Il racconto breve *Belaja noč'* è ambientato nel 1919 durante l'intervento inglese in Russia e parla delle ultime ore di vita del comandante di una guarnigione dei bianchi oramai circondata dai rossi. Il protagonista, Pal'čikov, ha l'ordine di compiere una rappresaglia contro la popolazione civile, ma si rifiuta di eseguire il massacro, è per questo motivo malvisto dai subordinati e, alla fine della storia, decide di suicidarsi. È molto raro trovare una così singolare rappresentazione di un ufficiale dei bianchi nella letteratura sovietica, ma il racconto occupa un posto particolare nella prosa di Leonov anche per un altro motivo: il protagonista della storia è colpevole ed è cosciente di esserlo, e questo probabilmente è un rimando all'esperienza personale di Leonov tra il 1918 e il 1920, quando la città di Archangel'sk fu occupata dagli inglesi.⁶²

Si può concludere questa parte relativa agli anni Venti ricordando un evento importante per la biografia di Leonov, ovvero la sua elezione nel 1929 a presidente dell'Unione degli scrittori.⁶³

2.4 Gli anni Trenta: *Sot'*, *Skutarevskij* e *Doroga na Okean*

Alla fine degli anni Venti Stalin aveva sconfitto tutti i suoi rivali, e aveva adottato una serie di misure atte a riorganizzare il Paese. In campo economico il riassetto del Paese si tradusse nell'avvio del primo piano quinquennale nel 1928. In campo letterario questo comportò lo scioglimento, con un decreto del Comitato centrale del 23 aprile 1932, di tutte le organizzazioni letterarie e la creazione di una Unione degli scrittori sovietici.⁶⁴

È proprio sullo sfondo socio-economico del primo piano quinquennale che si staglia il romanzo *Sot'*, del 1930, che narra la storia della costruzione di una cartiera sulle rive del fiume Sot' e degli ostacoli incontrati dai personaggi principali durante la realizzazione di questo progetto.⁶⁵

La vicenda è collocata nella primavera del 1928, quando un gruppo di ingegneri, con a capo Ivan Uvad'ev, arriva in un paese fittizio della Russia settentrionale per scegliere il luogo adatto dove edificare la cartiera. Nonostante le avversità della natura e l'opposizione dei *kulaki* e dei monaci del luogo, nel giro di un anno la realizzazione del nuovo edificio è completata con successo. Se da una parte il romanzo si presenta in modo molto semplice dal punto di vista della trama, dall'altra parte merita di essere analizzato per la finalità ideologica e propagandistica con cui è stato scritto. La costruzione dell'edificio infatti, secondo la retorica dell'industrializzazione socialista, altro non è che

⁶² *Ivi*, p. 94.

⁶³ Vachitova, op. cit., p. 418.

⁶⁴ Michel Aucouturier, *La vita letteraria degli anni Venti*, in: *Storia della letteratura russa*, vol. II, Einaudi, Torino 1990, p. 246.

⁶⁵ Thomson, op. cit., p. 105.

la metafora della costruzione di una nuova società, la cui vittoria viene celebrata nelle ultime pagine dell'opera. I protagonisti della vicenda non possono fallire nella riuscita del progetto, poiché il fallimento darebbe al romanzo una connotazione pessimistica, e ciò risulterebbe quindi essere contrario ai dettami del realismo socialista, che volevano piuttosto vedere celebrato l'eroismo del lavoratore sovietico. Il protagonista Uvad'ev incarna dunque in maniera completa l'eroe tipico della letteratura sovietica: egli, infatti, è totalmente dedito al suo lavoro e non ha tempo per alcuna distrazione o per avere una vita privata.⁶⁶ Bisogna tuttavia constatare che, sebbene Leonov avesse adottato i canoni letterari ufficiali per la stesura dell'opera, il romanzo fu attaccato duramente dall'Unione degli scrittori sovietici nell'autunno del 1931. Leonov fu accusato di aver fallito nella rappresentazione degli operai e di aver dato alla storia un finale poco trionfante.⁶⁷

Nello stesso anno della pubblicazione di *Sot'*, Leonov intraprese un viaggio nell'Asia centrale insieme ad altri illustri scrittori sovietici tra cui Vsevolod Ivanov, Nikolaj Tichonov, Vladimir Lugovskoj e Pëtr Pavlenko. Invitati dal ministro per l'educazione del Turkmenistan, essi avevano il compito di visitare la regione e scrivere un libro sui principali obiettivi raggiunti in campo economico.⁶⁸ Prodotto di quest'esperienza furono il saggio *Poezdka v Margian* (Viaggio in Margiana) e la *povest' Saranča* (La cavalletta).⁶⁹

Il quarto romanzo di Leonov, *Skutarevskij* (1932), riprende parte dei temi trattati in *Sot'*, ma l'ambientazione si sposta nei circoli letterari di Mosca degli anni 1930-31. Il protagonista è l'illustre professore e fisico Skutarevskij, che ha il compito di condurre un esperimento sulla trasmissione dell'energia. Tuttavia i suoi test risultano essere fallimentari e decide quindi di rassegnare le dimissioni, ma il Partito lo incoraggia a continuare il suo lavoro.⁷⁰ Centrale in questo romanzo è il tema dell'eterno conflitto tra i dogmi dell'ideologia e le verità della scienza e dell'arte.⁷¹

Anche *Skutarevskij* non fu esente dalle critiche: in seguito alla sua pubblicazione uno scienziato affermò che Leonov aveva completamente frainteso i problemi dell'*intelligencija*, e due mesi più tardi era apparso sulla stampa un dibattito relativo al romanzo.⁷²

Nel 1935 Leonov pubblicò il romanzo *Doroga na Okean* (La strada verso l'Oceano). La storia si svolge tra l'autunno del 1933 e la primavera del 1934, ed è quindi ambientata nel periodo delle grandi purghe, quando Stalin decise di epurare il Partito da presunti cospiratori. Anche il contesto letterario

⁶⁶ *Ivi*, pp. 106-108.

⁶⁷ *Ivi*, pp. 123-124.

⁶⁸ *Ivi*, p. 120.

⁶⁹ Vachitova, op. cit., p. 418.

⁷⁰ Thomson, op. cit., pp. 125-128.

⁷¹ *Ivi*, p. 146.

⁷² *Ibidem*.

è importante: *Doroga na Okean* è infatti la prima opera di Leonov scritta dopo la proclamazione del realismo socialista come unico genere della letteratura sovietica.⁷³

Aleksej Kurilov, protagonista del romanzo, è un commissario che ha il compito di indagare su una serie di incidenti ferroviari, ma che viene colpito da una malattia mortale. Leonov affronta in quest'opera i cosiddetti temi eterni, l'importanza della vita e della morte, e questo ha una certa rilevanza per una cultura come quella sovietica, dove il lavoro e il servizio al Partito erano l'unico credo ammesso. Il romanzo vede però un'evoluzione del protagonista: se inizialmente è il tipico eroe comunista, devoto al suo lavoro e che non ha tempo per la vita privata, man mano che la storia procede egli cambia il modo di vedere la realtà che lo circonda. L'epilogo è chiaramente tragico, ma l'avvicinarsi della morte permette al protagonista di scoprire come vivere e come trasmettere il suo insegnamento alle persone che lo circondano.⁷⁴

Non c'è da stupirsi se anche *Doroga na Okean* suscitò i dubbi dei critici: ciò che maggiormente sconcertò l'opinione pubblica era chiaramente la morte del protagonista. Solamente in seguito a un dibattito tenuto dall'Unione degli scrittori sovietici il 5 maggio 1936 i toni delle accuse si fecero più moderati; tuttavia l'impressione è quella che il romanzo non sia stato apprezzato adeguatamente.⁷⁵ Eppure, secondo Thomson,

[...] *The Road to Ocean* has many claims to be considered Leonov's greatest novel. [...] The characterization is the richest, most varied, and the most realistic to be found in Leonov's novels. Even the female figures, usually so artificial in his works, are convincing portraits. The style is less hyperbolic than in the preceding novels, and all the more eloquent for it. [...] Moreover the theme of the book, the re-examination of accepted values in the face of illness and death, is of universal appeal, though it acquires particular significance when seen against the background of Communism as a faith. [...] *The Road to Ocean* is probably the most relevant and ambitious novel to have been published in Stalin's Russia. It sums up Leonov's novels of the '30s and establishes a pattern for his later works.⁷⁶

Anche T. Vachitova ha sottolineato l'abilità con cui Leonov ha scritto i romanzi *Sot'*, *Skutarevskij* e *Doroga na Okean*:

Произведения 1930-х отмечены высоким композиционным мастерством. Роман «Соть» построен на контрасте: противопоставление строительства замшелому существованию отдаленного монашеского скита, забытого и людьми, и Богом. «Скутаревский»

⁷³ *Ivi*, p. 149.

⁷⁴ *Ivi*, pp. 150-161.

⁷⁵ *Ivi*, pp. 170-171.

⁷⁶ *Ivi*, pp. 171-172.

представляет собой оригинальный тип «романа воспитания», где в центре духовный и общественный поиск личности (подобно «Вору»). «Дорога на Океан» - новый тип романа в творчестве Леонова. Повествование о герое – Курилове – перемежается рядом вставных эпизодов, а объединенных размышлениями автора о будущем, о движении по «маршруту жизни» к Океану.⁷⁷

Nonostante le opere qui sopra analizzate fossero state oggetto di diversi attacchi da parte della critica letteraria sovietica, a metà degli anni Trenta Leonov era all'apice del successo, e forse non immaginava che di lì a poco la situazione sarebbe precipitata. I problemi iniziarono infatti a sopraggiungere nella seconda metà del decennio, e in particolare dopo la pubblicazione dei drammi *Polovčanskie sady* (Gli orti di Polovčansk, 1938), *Volk* (Lupo, del 1938) e *Metel'* (La tempesta di neve, del 1939). Le tre *pièce* sono accomunate dal fatto che sono ambientate nella provincia russa; e la trama in tutti e tre i casi si sviluppa attorno a una tipica famiglia sovietica, la cui stabilità è minacciata dall'arrivo di un fantasma del passato. Ciascuno di questi drammi si conclude con l'espulsione dell'intruso dalla famiglia e il ristabilimento dell'armonia.⁷⁸

Il testo drammatico *Metel'*, in particolare, non tardò a scatenare gli attacchi della critica, e si dice addirittura che non piacque affatto a Stalin.⁷⁹ presto Leonov capì che rischiava di essere arrestato. In conseguenza di ciò, la moglie decise di recarsi a Peredelkino nella speranza di trovare l'appoggio di Fadeev (che allora era il Segretario dell'Unione degli scrittori), ma senza ottenere grandi risultati. Nel 1940 Leonov fu costretto a dimettersi dalla redazione di *Novyj mir*, per il quale lavorava dal 1932.⁸⁰

2.5 Gli anni Quaranta: la Grande Guerra patriottica

Per quanto possa sembrare paradossale, la guerra permise a Leonov di riabilitare la sua posizione nella società letteraria sovietica, è quindi importante parlare, se pur brevemente, della sua produzione relativa a questi anni.

Nel 1941, com'è noto, la Germania invase l'Unione Sovietica e, in conseguenza di ciò, la moglie e le figlie di Leonov furono evacuate nella città di Čistopol', mentre lo scrittore le raggiunse poco dopo, alla fine di novembre. Durante gli anni della Grande Guerra patriottica, Leonov si recò diverse volte al fronte in qualità di corrispondente; da questa esperienza ricavò il materiale necessario per scrivere opere e articoli che esaltavano il ruolo del Partito comunista nella guerra. Nel marzo del 1943 vinse

⁷⁷ Vachitova, op. cit., pp. 418-419.

⁷⁸ Thomson, op. cit., pp. 177-178.

⁷⁹ Vachitova, op. cit., p. 419.

⁸⁰ Thomson, op. cit., pp. 188-189.

il Premio Stalin, che sancì la riabilitazione definitiva di Leonov e gli permise di lavorare, a partire dal 1945, per il giornale *Pravda*.⁸¹

Prodotto di questo periodo furono i testi teatrali *Našestvie* (L'invasione), del 1942, e *Lenuška* (1943) e la *povest' Vsjatie Velikošumka* (La presa di Velikošumk, 1944). Il contesto storico che li accomuna è evidentemente l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, e in un modo o nell'altro ciascuna storia si conclude con la cacciata del nemico⁸² e con l'esaltazione del coraggio che il soldato russo ha dimostrato sul fronte.⁸³

Nel 1941 Leonov compose la *pièce Obyknovennyj čelovek* (Un uomo comune), la cui prima messa in scena fu possibile solamente quattro anni dopo, mentre del 1946 è il dramma *Zolotaja kareta* (La carrozza d'oro),⁸⁴ opera che fu riveduta però nel 1955 e successivamente nel 1964: la prima versione esalta l'aspetto storico della vita del dopoguerra, la seconda è più incentrata sui problemi di tipo psicologico e morale dei protagonisti, mentre nella terza versione Leonov elimina la conclusione felice della *pièce* e ritorna al finale tragico della prima versione.⁸⁵

2.6 *Russkij les* e le revisioni degli anni Cinquanta-Sessanta

Verso la fine degli anni Quaranta Leonov iniziò a interessarsi alle questioni relative all'ambiente e alla natura: ne è testimone l'articolo *V zaščitu Druga*, pubblicato nel dicembre del 1947 sul giornale *Izvestija* e dedicato alla salvaguardia del patrimonio boschivo della Russia, che trovò larga eco.⁸⁶ Tuttavia, il suo contributo non si limitò alla stesura di articoli che trattassero questo argomento: è noto infatti che collaborò a fondare diverse società per la protezione delle risorse naturali del Paese e intraprese diversi viaggi in Unione Sovietica per raccogliere ulteriore materiale.⁸⁷

Le probabilità quindi che da questo nuovo interesse per l'ambiente Leonov traesse un romanzo erano piuttosto elevate. Nel 1950 iniziò pertanto a lavorare a quello che sarebbe stato poi il suo penultimo romanzo, che fu pubblicato nel 1953 col titolo *Russkij les* (La foresta russa). La storia ruota attorno a due figure (protagonista e antagonista), entrambe legate alla politica forestale russa: il primo, Vichrov, è l'*alter ego* di Leonov; mentre il secondo, Gracianskij, rappresenta l'opportunismo del governo sovietico. Il tema fondamentale è quello del conflitto e della rivalità tra scienziati che

⁸¹ *Ivi*, p. 191.

⁸² *Ivi*, p. 192.

⁸³ Verč, op. cit., p. 122.

⁸⁴ Thomson, op. cit., p. 203.

⁸⁵ Vachitova, op. cit., p. 419.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ Thomson, op. cit., p. 218.

lavorano sullo stesso campo di indagine. Alla fine del romanzo il protagonista riuscirà ad avere la meglio sul nemico, che invece si toglie la vita. In questo modo l'autore mette in luce la vittoria di ciò che è giusto su ciò che è sbagliato.⁸⁸

Bisogna ammettere che era abbastanza singolare per uno scrittore dell'epoca sovietica, e in modo particolare del periodo staliniano, esprimere un tale interesse per la politica ambientale tanto da farlo diventare il perno di un intero romanzo. Il semplice fatto di trattare un tema insolito poteva suscitare dei sospetti verso l'autore, e si è già visto precedentemente come Leonov avesse per puro caso (e forse fortuna) evitato l'arresto.⁸⁹ Nel giro di pochi anni erano però cambiate le cose: il 1953, anno di pubblicazione del romanzo, è anche l'anno della morte di Stalin. Si respirava sicuramente, se non l'aria, una leggera brezza di libertà. Inoltre, non bisogna dimenticare che il tema della natura, e della foresta in particolare, era sempre stato fondamentale per Leonov, tanto da costituire lo sfondo di molte sue opere, addirittura del suo primo racconto *Buryga*.⁹⁰

In *Russkij les* Leonov cerca di denunciare i danni a lungo termine causati dalla deforestazione, non solo per i boschi stessi, ma anche per il clima, l'agricoltura e l'economia del Paese. Pertanto il destino delle foreste russe diventano nel romanzo un'allegoria del destino del popolo russo. Questo emerge in diversi punti dell'opera, quando per esempio l'arresto di persone innocenti viene descritto parallelamente all'abbattimento degli alberi.⁹¹

L'attenzione per l'ambiente e l'ecosistema non sono dunque l'unica ragione per cui Leonov ha composto *Russkij les*. Come ha infatti riassunto Vachitova,

[...] смысл романа не исчерпывался «идеей постоянного лесопользования», через тему леса Леонов выходил к размышлениям об исторической судьбе России, об изменении русского национального характера, об экологических проблемах, грозящих катастрофой всему человечеству. Главный конфликт романа, воплощенный в образах ученых Вихрова и Грацианского, касался не только проблем леса, а философской концепции жизни.⁹²

Oltre ai dibattiti di tipo scientifico, nelle pagine del romanzo vengono affrontati anche il tema dell'importanza dell'artista (rivendicato dal protagonista) e quello del ruolo sociale dell'arte.⁹³ E proprio per l'importanza ideologica dei temi trattati *Russkij les* fu oggetto fin dalla sua pubblicazione di numerosi dibattiti, sollevati sia dalla comunità scientifica che da quella letteraria. Le controversie

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ivi*, p. 219.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ *Ivi*, pp. 220-221.

⁹² Vachitova, op. cit., p. 419.

⁹³ Thomson, op. cit., p. 233.

terminarono solamente nel 1957, quando il romanzo fu insignito del Premio Lenin (che corrispondeva al precedente Premio Stalin). Immediatamente l'opera fu acclamata dalla critica come il capolavoro di Leonov: si pensi che, nei dodici anni successivi alla prima pubblicazione, furono stampate più di un milione di copie. La storia fu adattata per la messa in scena a teatro e Leonov stesso eseguì delle letture pubbliche di brani del romanzo.⁹⁴

Bisogna però ammettere che non si tratta di un romanzo privo di imperfezioni. È stato infatti notato da Thomson che in *Russkij les* (come di fatto in molte altre opere di Leonov) si registra una totale assenza di fiducia nella generazione più giovane, rappresentata nei romanzi e nelle *pièce* da personaggi spesso superficiali e ingenui. Questo fatto assume un'estrema importanza se lo si inserisce nel contesto storico-letterario dell'Unione Sovietica degli anni Cinquanta: dopo la morte di Stalin, a disgelo iniziato, c'era una nuova generazione in cerca di una letteratura in cui riconoscersi (a tal proposito si pensi al ruolo del poeta Evtušenko), e il fatto che Leonov provasse scarsa simpatia per i giovani ha sicuramente ostacolato il suo successo a lungo termine.⁹⁵

Negli anni Cinquanta-Sessanta Leonov tornò a revisionare diverse opere degli anni precedenti. Questo processo di revisione inizia nel 1955, quando il Teatro d'Arte di Mosca espresse il suo interesse nel vedere rappresentata sul palcoscenico la *pièce Zolotaja kareta*⁹⁶ (che, come si è già detto in precedenza, fu soggetta a due revisioni). Questo tipo di esperienza portò Leonov a rivedere anche altre opere: *Vor* (1959), *Metel'* (1963)⁹⁷, *Konec melkogo čeloveka*, e *Našestvie*⁹⁸. Nel caso di *Vor* lo stimolo di tornare a lavorare sull'opera provenne dall'esterno: dopo il successo di *Russkij les*, infatti, Leonov fu invitato a revisionare il romanzo del 1927. Leonov accolse l'invito, nella convinzione che l'attività l'avrebbe tenuto impegnato per poche settimane. In realtà gli costò ben due anni e mezzo di duro lavoro, e di fatto la revisione dell'opera fu più lunga del tempo che impiegò alla stesura del romanzo stesso. Addirittura anche dopo aver completato la nuova versione, Leonov tornò a rielaborarla, e comparvero così nuove edizioni nel 1970 e 1991.⁹⁹ Ne derivò un romanzo profondamente diverso rispetto a quello originale, dal finale di segno opposto.¹⁰⁰

Si inserisce in questo contesto anche la *povest' Evgenia Ivanovna*, a cui l'autore lavorò a varie riprese in un arco di tempo assai lungo, dal 1934 al 1963, tornando ripetutamente a rivedere l'opera per poi pubblicarla solamente negli anni Sessanta. L'ispirazione di scrivere *Evgenia Ivanovna* gli venne dopo

⁹⁴ *Ivi*, pp. 236-237.

⁹⁵ *Ivi*, pp. 237-238.

⁹⁶ *Ivi*, p. 239.

⁹⁷ Vachitova, op. cit., p. 420.

⁹⁸ Thomson, *Ibidem*.

⁹⁹ *Ivi*, pp. 244-245.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 240.

aver compiuto un viaggio a Tbilisi,¹⁰¹ e difatti la Georgia costituisce lo sfondo su cui si sviluppano le vicende della protagonista, un'emigrata russa che soffre per aver abbandonato la sua patria.¹⁰²

2.7 L'ultima opera

Dopo un lungo periodo di silenzio, nel 1994, anno della morte di Leonov, venne alla luce l'ultimo suo romanzo, *Piramida* (La piramide). Com'è intuibile, si tratta di un'opera le cui radici risalgono al periodo della seconda guerra mondiale e alla quale Leonov lavorò per tutta la seconda metà della sua vita. È noto che l'autore faceva grande affidamento sul giudizio della moglie; tuttavia Tat'jana Michajlovna era scomparsa nel 1978, e per Leonov fu ancora più difficile ultimare il romanzo. Inoltre, negli anni Novanta, oramai anziano, Leonov aveva perso l'uso della vista, e di fatto furono le figlie ad aiutarlo nella stesura del libro. Alla fine, l'autore si lasciò persuadere alla pubblicazione di *Piramida*, che uscì qualche settimana prima della sua morte. Il motivo per cui Leonov stentò a terminare il romanzo è che aveva in mente un'opera ambiziosa, che avrebbe dovuto riassumere il ciclo della storia dell'umanità. In realtà, pur non avendo raggiunto il suo scopo, si tratta comunque di un romanzo che sintetizza l'*opera omnia* dell'autore stesso.¹⁰³

Il romanzo è ambientato nella Mosca degli anni 1939-1940, nel periodo compreso tra le grandi purghe staliniane e l'invasione della Germania, e racconta le vicende di una famiglia (Padre Matvej, la moglie e i tre figli) alle prese con la comparsa di un angelo che compie miracoli, chiamato Dymkov. Presto si sparge la voce della presenza di questa figura celeste, ed è perciò invitato da Stalin a collaborare con lui nella gestione del Paese. Purtroppo, però, la permanenza dell'angelo sulla Terra annulla la sua capacità di compiere miracoli, e dopo l'ennesimo insuccesso, temendo l'ira di Stalin, l'angelo decide di scappare via da questo mondo. A questo punto però il romanzo si interrompe, lasciando il lettore con un finale aperto.¹⁰⁴

I temi trattati in *Piramida* sono sia di tipo filosofico, sia escatologico e religioso. Inoltre, nella stesura dell'opera l'autore ha messo insieme i principi dell'estetica realistica e simbolica, mostrando la capacità (presente anche nei primissimi racconti) di spostare la narrazione dal piano della realtà a quello dell'irreale.¹⁰⁵ Interessante da questo punto di vista la scelta del titolo: *Piramida*, infatti, è lo stesso titolo usato da un personaggio del romanzo (Vadim Loskutov) per scrivere un poema in cui i

¹⁰¹ *Ivi*, p. 257.

¹⁰² Vachitova, *Ibidem*.

¹⁰³ Thomson, op. cit., pp. 265-266.

¹⁰⁴ *Ivi*, pp. 266-269.

¹⁰⁵ Vachitova, op. cit., p. 420.

progressi dell'ingegneria ottenuti da Stalin sono paragonati all'enorme spreco di vite umane impiegate per erigere la piramide di Cheope.¹⁰⁶ Implicito è quindi il parallelo tra il faraone e il dittatore sovietico, che non sfugge a un lettore attento. Impossibile cercare una via d'uscita, bisognerebbe scappare e rifugiarsi in un'altra esistenza.

La vita di Leonov fu lunghissima, copri quasi tutto il XX secolo. Egli fece in tempo a vivere nella Russia dell'impero zarista e fu diretto testimone della rivoluzione bolscevica e di tutti i cambiamenti sociali, politici, scientifici e artistici che essa comportò. Trascorse poi la maggior parte della sua vita letteraria sotto il sistema sovietico, fino al suo crollo nel 1991. Tutte queste esperienze si sono poi in un modo o nell'altro riversate nelle sue opere, e lo si può notare nel cambiamento graduale dello stile (la narrazione attraverso lo *skaz* che lascia posto al narratore onnisciente), nella moltitudine dei personaggi rappresentati (del mondo fantastico, biblico, storico), nelle infinite revisioni dei suoi stessi testi. Ciononostante, si può affermare che in realtà il centro di tutta l'opera di Leonov è costituito dalla tensione verso la continuità della cultura. La cultura è per Leonov l'unico mezzo di sopravvivenza nella dimensione terrena, e ciò che gli interessa è permettere che questa venga trasmessa. Nondimeno, la sopravvivenza della cultura (e quindi anche della letteratura) è strettamente collegata all'indagine sui problemi filosofici ed escatologici dell'uomo. Non a caso, lo scrittore che esercitò maggiore influenza su Leonov è proprio Dostoevskij. La grandezza di questo scrittore consiste proprio nel fatto che, pur adattandosi alle impostazioni del regime sovietico e del realismo socialista, egli non rinunciò mai a parlare, più o meno esplicitamente, di questo grande tema.

¹⁰⁶ Thomson, op. cit., p. 276.

3. Commento a tre racconti scelti

Ci si concentrerà ora sull'analisi di tre racconti di Leonov, tutti risalenti al 1922, ovvero l'anno del suo esordio letterario: *Buryga* (con lo stesso titolo in traduzione italiana), *Uchod Chama* (La partenza di Cam) e *Derevjannaja koroleva* (La regina di legno). Si tratta, come è già stato parzialmente detto, di tre racconti molto diversi tra loro, sia dal punto di vista dell'ambientazione che da quello dei personaggi rappresentati. *Buryga*, il primo di essi in ordine cronologico, narra le vicende di un folletto del bosco cacciato dal suo ambiente naturale; *Uchod Chama* riprende l'episodio biblico del diluvio universale e dell'arca di Noè; mentre invece *Derevjannaja koroleva* racconta la storia di un intellettuale di provincia appassionato di scacchi, che si innamora di una pezzo di essi, ovvero della regina nera.

Com'è evidente, i tre racconti non sembrano essere accomunati da nulla, se non dall'anno della loro stesura. Tuttavia, è possibile rintracciare alcune peculiarità comuni a tutti e tre i testi. Ivan Verč ha infatti notato che:

Il dato caratteristico che contraddistingue questi primi racconti di Leonov va individuato nella sua convinzione "simbolista" che esiste solo quella realtà che si forma nella coscienza dell'individuo e in cui la fantasia, la libera associazione di pensiero (e di linguaggio), la ricerca di mondi "altrui" (*miry inye*) sono indispensabili, quando il linguaggio normizzato è di per sé segno di una realtà solo apparente. Comprensibile quindi il principio lirico, melodico e ritmico presente nella struttura dei primi racconti.¹⁰⁷

Un altro aspetto che lega in modo inequivocabile i racconti *Buryga* e *Derevjannaja koroleva* (mentre *Uchod Chama* costituisce un caso a parte) è la narrazione a focalizzazione interna. In *Buryga* questo è oltremodo evidente, dato che per sviluppare la sua trama l'autore ha fatto un abbondante uso dello *skaz* (la cui tecnica è stata descritta nel capitolo 1.2). In questo caso, il narratore interno è rappresentato da un contadino, che sembra raccontare una tipica fiaba russa. Nell'altro racconto (*Derevjannaja koroleva*) la narrazione dal punto di vista interno è rievocata attraverso il linguaggio delle fiabe per bambini, in particolare quelle di Hoffmann e Andersen. *Uchod Chama*, invece, non sembrerebbe presentare la narrazione da un punto di vista interno, quanto piuttosto da quello esterno. È interessante notare, però, che la storia è narrata attraverso la stilizzazione del linguaggio biblico.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Verč, op. cit., p. 115.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

T. Vachitova ha riassunto bene i tratti caratteristici dei racconti degli anni 1922-1923. Secondo quest'ultima, i diversi mondi, scaturiti dalla fantasia di Leonov e ricreati poi nei suoi racconti, possono essere paragonati a macchie che si estendono verso l'infinito e l'irrealtà:

Мир, воссозданный леоновской фантазией, блистал разноцветными красками, множился, переливался разными оттенками, представляя собой узорчатую ткань, на фоне которой возникали определенные «пятна» культурно-мифологического пространства, которое ничем не ограничено и устремлено в бесконечность. [...] Леонов рисует свои схемы не линиями, а пятнами, в мглистых неопределенных очертаниях, но схема от этого все же не перестает быть схемой, ибо образ в ней дается без художественной полноты, с одним, много двумя, признаками, которые к тому же не столько показываются, сколько о них рассказывается. [...] миры молодого Леонова возникают «цветными экзотическими пятнами, двоясь в ирреальность». Современные исследователи выявляют во многих произведениях писателя некое «семантическое пятно», образ, воплощающий комплекс значений. Именно этот образ выкристаллизовывался в поэтике Леонова в ранней новеллистике, обозначая путь сжатия и локализации тех пространственных зон, которые были развернуты и расцвечены в рассказах 1922-1923 годов.¹⁰⁹

Sarà utile ora soffermarsi sull'analisi dei tre racconti presi singolarmente.

3.1 *Buryga*

Buryga, il primo racconto di Leonov, fu scritto nel gennaio del 1922. Esso racconta le vicende di un folletto del bosco, chiamato appunto *Buryga*, che ha l'aspetto di "un cucciolo con il naso a forma di proboscide". *Buryga* trascorre pacificamente la sua vita nel bosco, quando un giorno dei taglialegna lo mettono in fuga, costringendolo a scappare verso la città. Da questo momento in poi, *Buryga* affronterà una serie di peripezie, sarà trattato da vari padroni come un oggetto di loro proprietà, finché non riuscirà a scappare di nuovo, questa volta in direzione della sua terra natale.

Il racconto si apre come una comune favola. Questo inizio favolistico è riprodotto, a livello stilistico, attraverso un forte uso dello *skaz*, che ricorda la raccolta di racconti *Veglie alla fattoria presso Dikan'ka* di Gogol':

¹⁰⁹ Vachitova, *Kartina mira v proze Leonida Leonova*, "Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 8: Literaturovedenie. Žurnalistika", 2006, p. 34, consultato al link <https://cyberleninka.ru/article/n/kartina-mira-v-proze-leonida-leonova> in data 10/05/2019.

В Испании испанский граф жил. И были у него два сына: Рудольф и Ваня. Рудольфу десять, а Ване еще меньше.	Viveva in Spagna un conte spagnolo. E aveva due figli: Rudol'f e Vanja. Rudol'f aveva dieci anni, mentre Vanja era ancora più piccolo.
---	--

Come Thomson ha però notato, nonostante il linguaggio rievochi lo *skaz* (attraverso il diverso ordine delle parole e il tono ingenuo della narrazione), è evidente che Leonov fa un uso incongruo dei nomi dei personaggi, a cominciare da Rudol'f e Vanja: questi, pur essendo figli di un conte spagnolo, hanno nomi russi. Ciò fa capire al lettore che l'autore del testo sta giocando con la tecnica dello *skaz* in maniera consapevole.¹¹⁰ Anche ad altri nomi di persone e luoghi presenti nel racconto è conferito lo stesso trattamento.

Nonostante l'autore si smascheri da solo, lo *skaz* è presente in maniera costante in tutto il racconto. Questo lo si può vedere benissimo a livello grafico, in errori ortografici e grammaticali: per esempio, Leonov scrive *што* al posto di *что*, *эшто* anziché *это*, *ничего* al posto di *ничего*, *три рубли* e non *три рубля*, e così via. Solo alla fine del racconto è identificato in modo inequivocabile il narratore, che risulta essere un contadino dal nome Egor:

Так дед Егор из Старого Ликеева рассказывал.	Così il vecchio Egor di Staroe Likeevo ha raccontato.
--	---

Se lo *skaz* costituisce il perno per quanto riguarda lo stile del racconto, per quanto concerne l'ambientazione il punto focale è rappresentato dal bosco. Si è già visto come il tema della natura acquisti un valore importante nella prosa di Leonov (si ripensi solo a *Russkij les*). Fin dalla sua prima opera in prosa, dunque, Leonov rivela il suo interesse per il mondo naturale.

La natura, e il bosco *in primis*, costituisce un mondo in antitesi con quello della città: la natura è rappresentata come un mondo ideale, mentre tutto il resto – ovvero il mondo civilizzato delle persone – è minaccioso. Tra questi due mondi si trova Buryga e, con lui, il tema del viaggio che suo malgrado è costretto a intraprendere. Il bosco rappresenta per Buryga la culla della vita, che è perciò immerso in un'atmosfera incantata e sognante¹¹¹:

¹¹⁰ Thomson, op. cit., p. 15.

¹¹¹ A. O. Tueva, *Osobennosti chronotopa v rasskaze L. Leonova «Buryga»*, “Vestnik Vjatskogo gosudarstvennogo universiteta”, 2012, p. 111, consultato al link <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-hronotopa-v-rasskaze-l-leonova-buryga> in data 29/05/2019.

<p>...Хорошо жилось Бурьге в зеленом привольи леса. Там по утрам солнце ласково встает: оно не жжет затылка, не сует тебе клубка горячей шерсти в глотку оно свое там, знакомое. Там затынет по утрам разноголосая птичья тварь на все лады развеселые херувимские стихеры, там побегут к болотному озерку неведомые, неслыханные лесные зверюги... Ранними утрами поет там лес песню, а над ним идут, идут, идут алые облака, глубятся, сталкиваются: то не ледоход небесный - то земные радости плывут.</p> <p>...Выходит из своего логова детеныш Бурьга, - он летом в норке этакой живет; он спросонья на пни натывается; он, зеленый, в зеленом крадется кустарнике, он похрамывает по кисельным зыбунам, шустро сигает через мертвые пни, кубарем катится, вьюнцом идет... Вот он сядет на прогалинке, он хихикает и морщится, он сидит-прискакивает, греет спинку, сушит шерстку под солнышком, а солнышко теплой лапкой его гладит,- жмурится и щурится, мурлыкает незатейную песенку, язык мухоморам кажет... А те нарядились, как к обедне, выстроились толстые и тонкие в ряд... Шесть их по счету, и весело им поэтому.</p> <p>...А вот вечер. Солнце спряталось, - по небу обсосанная карамелька, луна, ползет. Уж тут и начало развеселой гулянке ночной.</p> <p>Шагает Бурьга к старому лохматому пню, там живут его приятели и знакомцы Волосатик и Рогуля. Волосатик, он и</p>	<p>...Buryga stava bene nella distesa verde del bosco. Lì, al mattino, il sole si leva carezzevole: non brucia la testa, lui lassù, il nostro amico, non ti fa sentire come se ti avesse cacciato in gola un gomito di lana ardente. Lì, al mattino, un uccellino di molte voci intona in tutti i modi angelici e allegri sticheron, lì bestie sconosciute e strane del bosco si mettono a correre verso il laghetto palustre... Lì, al mattino presto, il bosco intona una canzone, e sopra di lui camminano, camminano, camminano delle nuvole scarlatte, diventano profonde, si scontrano: ora nuota il disgelo celeste, ora nuotano le gioie terrestri.</p> <p>Il cucciolo Buryga esce dalla sua tana: d'estate vive in questo piccolo buco; assonnato sbatte contro i ceppi di legno; lui, verde, cammina quatto quatto in un arbusto verde, arranca un po' nelle paludi gelatinose, salta svelto tra i ceppi morti, scende rotoloni, corre come distese di convolvoli... Ecco che si siede su una piccola radura, ridacchia e fa le smorfie, fa dei saltelli da seduto, si scalda la schiena, asciuga la lanugine sotto il solicello, e il solicello lo accarezza con la zampa tiepida, strizza e socchiude gli occhi, canticchia una canzonetta semplice, mostra la lingua agli ovoli malefici... E questi si sono abbigliati come per una messa, si sono messi in fila grassi e magri... Sono in sei, e per questo sono allegri.</p> <p>...Ed ecco la sera. Il sole si è nascosto, in cielo striscia una caramella succhiata, la luna. Ed è già l'inizio di un'allegria baldoria notturna.</p>
---	--

<p>кругленький и мохнатенький, вроде как бы лешев внучек, гнилая осина мать ему, а Рогуля - полосатый, серое с зеленым, сухой да тонкий как аршин, кривулинка на ножках. Он все больше насчет божественного любил: откуда свет пошел, кто лешему набольший, почему вода мокрая...</p>	<p>Buryga cammina verso il vecchio ceppo ramoso, lì vivono i suoi amici e conoscenti Volosatik e Rogulja. Volosatik è sia rotondetto sia pelosetto, come le nipotine del folletto dei boschi, il tremolo marcio è la sua mamma, mentre Rogulja è a strisce, grigio e verde, secco e magro come un <i>aršin</i>, con le gambe storte. Ha sempre amato le questioni di tipo divino: da dove venisse il mondo, chi fosse più importante per il folletto del bosco, perché l'acqua fosse bagnata...</p>
---	---

Come si evince dal passo riportato, Buryga conduce una vita perfetta nel bosco in primavera e d'estate: non avendo preoccupazioni, egli può godersi spensieratamente la propria fanciullezza insieme ai suoi amici Volosatik e Rogulja (non bisogna dimenticare infatti che Buryga è un cucciolo). Da notare, inoltre, gli elementi che riconducono alla cristianità (sebbene il racconto faccia chiaramente riferimento alla tradizione contadina e pagana russa) in frasi come “un uccellino di molte voci intona in tutti i modi angelici e allegri sticheron”, oppure in riferimento a Rogulja, che ama “le questioni di tipo divino”¹¹².

In autunno, però, Buryga è pervaso da una leggera malinconia, poiché il sole è debole, cade la pioggia, Rogulja e Volosatik vanno in letargo, mentre Buryga vaga da solo per il bosco¹¹³:

<p>Осенью развешивал вечер по небу мокрые тряпки, жал их настойчиво, и из них шел на землю грязный скучный дождь.</p> <p>...Давно уж на бору оталели бусы рябин, отшуршали краснолистые осины, — примета: лесной твари спать.</p> <p>...Рогуля лазил на зиму в самое болото, в зеленое нутро, в теплую грязь - туда мороз не дошупает: сидел там, размышляя всю зиму о таинствах естества божья. Волосатик</p>	<p>In autunno il vento appendeva in cielo i vestiti bagnati, li strizzava con insistenza, e da questi cadeva sulla terra una noiosa pioggia sporca.</p> <p>...Da tempo ormai sulla pineta le bacche di sorbe hanno perso il loro colore rosso, è finito il fruscio dei tremoli dalle foglie rosse, è un segno: è ora di dormire per le creature del bosco.</p> <p>...Rogulja è penetrato per l'inverno nella palude stessa, nelle viscere verdi, nel caldo</p>
--	--

¹¹² *Ibidem.*

¹¹³ *Ibidem.*

<p>у знакомого медведя в берлоге угол снимал, а Бурьга все бродил по лесу, ждал, не заползет ли солнышко... А солнышко не выползало, а вместо него карабкались по небу мокрые тучи.</p> <p>...Пробовал Бурьга шапку-непромокайку из воронья гнезда смастерить, да только вышло из этого огорчение одно: дожди шли сильные, а в том вороньем гнезде черноголовые мураши жили... Бродил по лесу.</p>	<p>sporco – dove il gelo non arriva a palpare: stava là, riflettendo per tutto l'inverno sui misteri della natura di Dio. Volosatik ha trovato un angolino nella tana dell'orso familiare, mentre Buryga continuava a vagare per il bosco, aspettava che magari il solicello non arrivasse di striscio... Ma il solicello non uscì, e al suo posto si arrampicavano per il cielo delle nuvole bagnate.</p> <p>...Buryga provava a costruirsi dal nido di cornacchie un berretto impermeabile, ma da questo uscì solo un dispiacere: la pioggia scendeva fittamente, e in quel nido di cornacchie vivevano le formiche dalla testa nera... Vagava per il bosco.</p>
--	--

La malinconia scompare solamente nel giorno di Erofej, ovvero il 4/17 ottobre, giorno in cui – secondo la tradizione popolare russa - gli spiriti maligni vagano per i boschi, allo scopo di spaventare gli altri esseri viventi urlando, battendo le mani e ridendo sgangheratamente:

<p>...А тут по лесу бродить нельзя: на Ерофеев день, на волчью свадьбу, уставлено нечисти пропадать: в ту пору ходит дед по бору с дубиной, а в самом скука, и сам весь всклокоченный. Ему попадись тут под руку, он тебе либо хребет перешибет, либо доведет до смертного напугу.</p>	<p>...E ora non si può vagare per il bosco: nel giorno di Erofej, per il matrimonio dei lupi, si crede che gli spiriti maligni spariscano: in quel tempo il vecchio cammina per la pineta con un bastone, ed è una vera noia, e lui stesso è tutto arruffato. Se gli capiti sottomano, ti spezzerà la schiena, oppure ti spaventerà a morte.</p>
--	--

Ma dopo questo giorno, e quindi durante l'inverno, Buryga torna a crucciarsi, si nasconde in una cavità e attende che arrivi la primavera. E proprio nel momento in cui ritorna la bella stagione, l'armonia del bosco è distrutta dall'arrivo improvviso dei tagliaboschi, simbolo del mondo civilizzato, con le loro asce e seghe¹¹⁴:

¹¹⁴ *Ivi*, p. 112.

<p>Да вот не дождалось раз весны такой озорное племя, пришло горе горькое. Однажды громко утром запели топоры, они хряснули весело сизыми ладонями, они пошли гулять-целовать: куда поцелуют - там смерть... А еще тем же утром жестокими зубьями заскрежетали пилы, загрызли громко, запели звонко, - не замолишь слезой их лютого пенья... Встал на бору железный стон.</p>	<p>Quella volta non arrivò a vedere la primavera la compagnia diabolica, arrivò una disgrazia. Una mattina le asce iniziarono a risuonare forte, e colpirono allegramente con le mani grigio-azzurre, andarono a passeggiare e baciare: dove baciavano, lì c'era la morte... E ancora quella stessa mattina iniziarono a stridere le seghe coi denti brutali, straziarono violentemente, risuonarono forti: non riuscirai a far smuovere con le tue lacrime imploranti il loro crudele canto. Sul bosco si è innalzato un lamento di ferro.</p>
---	---

Buryga è terrorizzato, e si rivolge quindi al nonno, capo dei folletti del bosco. Quest'ultimo prova nella notte a spaventare i tagliaboschi, ma invano. Pertanto, gli spiriti maligni non hanno altra scelta: soccombere, oppure scappare e lasciare la foresta a un terribile destino. Il nonno decide subito di scappare, rifugiandosi dal nipote del bosco vicino (dove i folletti possono ancora con ogni probabilità condurre un'esistenza pacifica). Nulla si sa di quel che resta del bosco, poiché anche Buryga, incitato dal nonno, decide di scappare, e l'ambientazione si sposta inevitabilmente con lui.¹¹⁵

Il primo luogo in cui il protagonista fugge è la campagna: più precisamente, la casa di una vecchia chiamata Kutaf'ja. Questa casa rappresenta una via di mezzo tra il mondo naturale del bosco e quello civilizzato della città. Non a caso, la campagna si trova nella Pineta di Vlas, il cui nome rievoca il mondo di provenienza di Buryga. Presto il "cucciolo col naso a forma di proboscide" si ambienta nella nuova dimora, ma arriva un nobile, Gejnrich Buterbrot, che prega Kutaf'ja di vendergli Buryga. La vecchia alla fine cederà, dimostrando un comportamento non meno crudele di quello dei tagliaboschi¹¹⁶:

<p>[...] Ты мне продай, бабка, детеньша! Человек я хороший, ему у меня неплохо будет. Буду я его колбасой кормить, научу на велсипеде ездить, буду людям за</p>	<p>[...] Vendimi, vecchia, il cucciolo! Io sono una brava persona, e non gli succederà nulla di male. Gli darò da mangiare salame, gli insegnerò ad andare in bicicletta, lo mostrerò</p>
---	---

¹¹⁵ *Ivi*, pp. 112-113.

¹¹⁶ *Ivi*, p. 113.

<p>двугривенные показывать... Продай, бабка, тыщу не пожалею!</p> <p>Бабка и туда и сюда; и жалко, и как будто ни капельки: все одно к лету сбежит; а барин из себя важный, да и тыщи на полу не валяются. К тому же скажем так: давно хотелось бабке для праздников платье такое иметь, — чтоб шурстело, и коричневое.</p> <p>— Что ж, сказала, — возьми, не нехристь же ты, кормить-поить станешь... Да только мало уж очень, сынок, тыщи-то, пожалей старушку, прибавь три рубли...</p> <p>Барин тут гоготать взялся. Прыгает у него на грудях золотая цепка, брюхо, а брюхо того гляди из-под жилетки вывалится. Достал барин портмонет, отсчитал сто рублей копейками, благо старуха неграмотна, а от доброты еще три рубля прибавил и за сговорчивость полтинник дал. [...]</p> <p>Долго потом тосковала Кутафья, что за Бурьгину кофту с барина придачи не взяла.</p>	<p>alla gente per venti copechi... Vendimelo, vecchia, te lo compro per mille scudi!</p> <p>La vecchia camminava avanti e indietro; e le dispiaceva, e poi non le dispiaceva più: comunque verso l'estate sarebbe fuggito; ma il nobile era importante, e un migliaio di scudi non era roba da niente. E poi bisognava ammetterlo: da molto la vecchia voleva avere un bel vestito per le feste, marrone, di una stoffa frusciante.</p> <p>- Allora, disse, - prendilo, non sei un mascalzone, gli darai da mangiare e da bere... Solo che son davvero pochi, figliolo, mille, abbi pietà di una vecchietta, aggiungi tre rubli...</p> <p>Allora il nobile si mise a ridere fragorosamente. Balzò sul suo petto una catenina d'oro, e in un momento la pancia gli uscì dal gilet. Il nobile tirò fuori il portamonete, contò cento rubli in copechi, visto che la vecchia era analfabeta, e aggiunse altri tre rubli per bontà e cinquanta copechi per la sua malleabilità. [...]</p> <p>Per tanto tempo poi Kutaf'ja si rammaricò per non aver preso dal nobile qualche soldo in più per la giacca di Buryga.</p>
--	--

Dopo essere stato venduto come una merce, Buryga viene infilato in un sacco e poi spostato in una valigia. Il nobile e il folletto salgono in treno, che li conduce in città. Non appena arrivati, si sistemano in un albergo, dove per Buryga inizia un processo di spersonalizzazione¹¹⁷:

<p>Войдя в свой номер, он неторопливо распаковал детеныша, налил из самовара в таз кипятку, вкось посмотрел на сжавшегося в углу Бурьгу и сказал хмуро:</p>	<p>Entrato nella sua camera, spaccettò con calma il cucciolo, versò l'acqua bollente dal samovar nel catino, guardò di sbieco Buryga che si stava contorcendo in un angolo e disse cupamente:</p>
---	---

¹¹⁷ *Ibidem.*

<p>— Мыла-то вот и нет у меня... Ну, да ничего, я тебя и щеткой обработаю!</p> <p>У Бурьги при тех словах шерсть шишом встала. Но барин, не теряя времени, сунул его в кипяток и стал тереть головной щеткой.</p> <p>Щетка восторженно заходила по Бурьгину телу, неожиданно прыгала с детенышевой ноги прямо на шею и там оставляла свирепый след. Потекло с Бурьги родное, зеленое, а барин отдувался, скоблил разными острыми предметами Бурьгины копытца, сопел сильно, утешая изредка:</p> <p>— Ничево, чертище, потерпи; на человека зато похож будешь!</p> <p>А этого-то детенышу и не хотелось — чтоб на человека-то! Уж он рассердиться даже хотел, лесной детеныш, но тут кончил Бутерброт, снял простыню с кровати, вытер истово Бурьгу насухо. Слиплась тут шерстка на детеныше, согнулись зябко коленки, хвостик понуро повис.</p>	<p>- Ecco, non ho nemmeno il sapone... Ma sì, pazienza, ti sistemo con la spazzola!</p> <p>A quelle parole a Buryga si rizzò il pelo. Ma il nobile, senza perdere tempo, lo ficcò nell'acqua bollente e si mise a sfregarlo con la spazzola per i capelli.</p> <p>La spazzola si muoveva con entusiasmo sul corpo di Buryga, all'improvviso rimbalzò dal piede del cucciolo direttamente sul collo e vi lasciò un'impronta violenta. Buryga cominciò a perdere un liquido familiare, verde, mentre il nobile sbuffava, raschiava con diversi oggetti appuntiti gli zoccoli di Buryga, sbuffava molto, consolandolo di tanto in tanto:</p> <p>- Non è niente, diavoletto, sopporta; in compenso assomiglierai a una persona vera!</p> <p>E questo non lo voleva il cucciolo – ma quale persona! Voleva già addirittura arrabbiarsi, ma in quel momento Buterbrot finì il lavoro, tolse il lenzuolo dal letto, strofinò con fervore Buryga fino a farlo asciugare. Allora il pelo corto di Buryga si raggrumò tutto, si incurvarono le ginocchia fredde, la codina rimase sospesa tristemente.</p>
---	--

Buterbrot porta poi Buryga al circo, dove lo costringe a intrattenere il pubblico. Qui Buryga subisce tutte le ingiustizie del caso, ma riesce a trovare un amico. È il pagliaccio Osip Ivanyč, al quale è conferito lo stesso trattamento del folletto del bosco:

<p>Бросали иногда Бурьге конфеты и яблоки, — их тотчас же за кулисами съедал Бутерброт, а однажды какой-то жизнерадостный мальчуган швырнул Бурьге апельсин и попал ему в нос. Бурьга</p>	<p>Ogni tanto lanciavano a Buryga caramelle e mele, - che si mangiava immediatamente Buterbrot dietro le quinte, e una volta un certo ragazzino pieno di gioia scagliò contro Buryga un'arancia che gli finì nel naso. Buryga rispose</p>
---	---

<p>и на это сказал хрипловатое, увесистое «мерси», а ночью поплакал от обиды.</p> <p>И вот приключилось другое «однажды». Цирковый подбрасыватель был пьян и не сумел дошвырнуть Бурьгу до трапеции. Детеныш лепешкой ударился об песок, и его на руках унес за кулисы Осип Иваныч под безудержный хохот весельчаков.</p> <p>Когда нес клоун Бурьгу, — Бурьге было очень больно везде, — они глядели друг другу в глаза: на них в свете ярких ламп глядели тысячи зорких глаз, и никто не заметил ничего; их слушали тысячи длинных ушей, и никто не услышал ни слова из того, что говорили эти двое смехотворов друг другу. А они говорили вот что:</p> <p>— Я тебя очень люблю, Бурьга...</p> <p>— И я тебя тоже люблю, Осип Иваныч... Совсем ты на человека не похож. За то и люблю!</p>	<p>anche a questo gesto con un pesante e rauco <i>merci</i>, mentre di notte pianse per l'offesa subita.</p> <p>Ed ecco che giungeva un altro “una volta”. Il lanciatore del circo era ubriaco e non riuscì a lanciare Buryga fino al trapezio. Il cucciolo cadde come un sasso sulla sabbia, e Osip Ivanyč lo portò in braccio dietro le quinte sotto la risata sfrenata delle persone allegre.</p> <p>Mentre il pagliaccio portava via Buryga — Buryga aveva forti dolori dappertutto — questi si guardavano negli occhi vicendevolmente: sotto la luce di luminose lampade li guardavano migliaia di occhi acuti, ma nessuno notò nulla; li ascoltavano migliaia di lunghe orecchie, ma nessuno sentì una parola di quello che si stavano dicendo l'un l'altro questi due buffoni. E loro si stavano dicendo proprio questo:</p> <p>- Ti voglio tanto bene, Buryga...</p> <p>- Anch'io ti voglio bene, Osip Ivanyč... Non assomigli affatto a un uomo. È per questo che ti voglio bene!</p>
---	--

Va sottolineato che i primi contatti di Buryga con il mondo civilizzato avvengono in due luoghi: l'albergo e il circo. Questi ambienti non rappresentano nulla di reale: l'albergo è come una casa, ma finta, in cui si può soggiornare per un certo periodo in cambio di denaro; il circo d'altra parte è un posto in cui la gente scherza ed è felice, ma per finta, e lo fa sempre per denaro. Quindi il mondo degli umani è finto, vuoto, e non a caso anche i bambini del circo dimostrano scarsa empatia per Buryga, quando gli tirano addosso un'arancia.¹¹⁸

Presto Buryga deve affrontare una nuova avventura: arriva in città una mercantessa spagnola, che persuade Buterbrot a venderle il cucciolo. Il nobile, che nel frattempo si era già arricchito a sufficienza, è quasi contento di liberarsene, e così Buryga viene trattato ancora una volta come una

¹¹⁸ *Ibidem.*

merce. Infatti, per portarlo in Spagna (un altro mondo contrapposto a quello naturale), la mercantessa è costretta a pagare una grande somma di denaro, come volesse importare una merce straniera¹¹⁹:

<p>Не все же по заграницам шататься, пора и домой: поехала купчиха в Испанию. Тут разные она неприятности вынесла: у Бурьги паспорта своего не было, а за сына своего родного принимать его не хотелось купчихе, - засмеют земляки. Пришлось за Бурьгу заплатить дорогую пошлину, как за продукт иностранного производства.</p>	<p>Basta girare sempre all'estero, è ora di tornare a casa: la mercantessa partì per la Spagna. Allora le toccò sopportare diverse seccature: Buryga non aveva un passaporto personale, e la mercantessa non voleva prenderlo come suo figlio carnale, - i compaesani l'avrebbero messa in ridicolo. Fu costretta a pagare un dazio molto caro per Buryga, come lo si paga per una merce prodotta all'estero.</p>
---	---

A casa della mercantessa Buryga sembra ristabilirsi, tuttavia gli “davano cibo cattivo”, e non appena il folletto riusciva a saziarsi, iniziavano per lui le “pene mortali”, poiché la mercantessa accorreva “a impartirgli lezioni di diverse discipline”, tra cui quelle di materia divina. Un giorno, però, l'equilibrio si rompe. Mentre Buryga sta recitando una preghiera, la mercantessa lo accarezza: involontariamente sente “le piccole corna del diavolo” e inizia a strillare. Buryga la colpisce in volto e scappa via.

Ecco che si ritorna nel punto in cui era iniziato il racconto. Buryga arriva nella casa di un conte spagnolo, il quale lo trasforma in un lacchè. Un giorno il conte decide di festeggiare il suo onomastico. Si noti come ancora una volta è chiaramente percepibile la presenza del narratore-contadino:

<p>Готовился граф к именинам. Когда его свят-ангел – не знаю: не заглядывал я в испанские святцы: знаю одно – зимой.</p>	<p>Il conte si stava preparando per l'onomastico. Quando sia il suo santo, non lo so: non ho dato un'occhiata al calendario ecclesiastico spagnolo: so solo che è in inverno.</p>
--	---

Il conte organizza dunque una festa e invita nella sua dimora molte persone: lo zio del conte, l'alto dignitario spagnolo, e anche la mercantessa. È proprio la visione di quest'ultima che fa inorridire Buryga: il folletto infatti fa involontariamente cadere un vassoio con delle bottiglie di vino e il conte, in preda alla furia, picchia terribilmente Buryga. La cuoca della casa (che aveva trovato Buryga seduto su un cumulo di neve all'inizio del racconto) decide di portarlo fuori e di sistemarlo nella cuccia con

¹¹⁹ *Ibidem.*

il cane Šarik. Šarik diventa così un amico fidato per Buryga, l'unico essere vivente a mostrare una sincera compassione per lui. È proprio al vecchio cane dai baffi bianchi che Buryga confida di essere stato maledetto, insieme ai suoi amici, da padre Sergij per aver fatto a quest'ultimo uno scherzo di cattivo gusto:

<p>...Да вот пришла Волосатику пустая блажь - старичку тому табачку нюхательного подсыпать. Посмеяться и мы были не прочь... А старец, надо сказать, строг был: блоху жалел, а себя еженощно терзал по-разному.</p> <p>...Ему-то - откуда достал, не знаю - и насыпал Волосатик табачку в ряску... Засели мы в трубе, ждем. А Волосатик мне хвостом ноздри щекочет; смех меня разрывает.</p> <p>...Тут мы слышим вдруг чихание и гневный клич:</p> <p>«Ты, - говорит, - Волосатик, сгоришь золотым цветом на Иванов день...</p> <p>«Тебя, - говорит, - Рогуля, зашибет дед на Ерофея до-смерти...</p> <p>«А ты, - это мне-то он говорит, - Бурьга с перешибу от поганой руки будешь в чужой земле сдыхать, - не сдохнешь, но завоняешь»...</p> <p>...Вот как это вышло. Нету теперь моих приятелей... один я, да ты у меня.</p>	<p>...Ed ecco che a Volosatik venne in mente di fare uno scherzetto da nulla – mettere furtivamente del tabacco da annusare al vecchietto. Anche noi non eravamo contrari a farci una risata... Ma il vecchio, bisogna dirlo, era severo: gli dispiaceva anche per una pulce, e si tormentava ogni notte in modo diverso.</p> <p>...E - non ho idea da dove l'avesse tirato fuori – Volosatik gli versò il tabacco nella tunica... Ci siamo appostati nel tubo ad aspettare. Ma Volosatik mi solleticava le narici con la coda; mi faceva scoppiare dalle risate.</p> <p>...Allora abbiamo sentito di colpo uno starnuto e un urlo adirato:</p> <p>“Tu, - disse – Volosatik, morirai bruciato come un fiore dorato nel giorno di Ivan.</p> <p>“Tu, – disse – Rogulja, verrai ammazzato dal vecchio nel giorno di Erofej..</p> <p>“E tu, - disse a me, – Buryga, creperai in terra straniera perché qualche schifoso te le darà di santa ragione, - e se non creperai subito, inizierai a puzzare”...</p> <p>...Ecco come è andata. Ora non ci sono i miei amici... sono solo, ma ho te.</p>
---	---

La vita che Buryga conduceva armoniosamente nel bosco è quindi stata interrotta a causa di una monelleria ideata da Volosatik. Il vecchio spirito maligno “era severo” e decide quindi di punirli lanciando una maledizione a ciascuno dei tre spiriti maligni. È interessante notare come le maledizioni siano associate a dei giorni specifici del calendario russo, che rimandano ancora una volta alle

tradizioni popolari e pagane: Volosatik verrà “bruciato come un fiore dorato” nel giorno di Ivan, ovvero il giorno in cui anticamente si festeggiava il solstizio d’estate; Rogulja verrà ucciso nel giorno di Erofej, giorno in cui i folletti dei boschi prendono vita, e quindi morirà per mezzo di altri spiriti maligni; infine Buryga – a cui è riservato il trattamento peggiore – morirà “in terra straniera” (e quindi lontano dal suo mondo) picchiato a morte e lasciato marcire.¹²⁰

Il conte spagnolo picchia effettivamente Buryga, facendo avverare la profezia. E Buryga, sentendo la morte vicina, decide di partire verso il bosco, la sua vera casa, perché è lì che vuole esalare l’ultimo respiro:

<p>- Я, Шарик, домой хочу итти... туда. У Шарика под сердце подкатило: - Зачем тебе туда? - Не то у вас тут... У нас по-другому... Тебе, Шарик, не понять... Я туда пешком пойду. [...] Вышел Бурьга за калитку. И опять в небе ночь была. Она шептала молитвенно вниз: - Ступай, Бурьга, ступай... Я тебя, где нужно, в тьму закутаю, где нужно - на крыльях пронесу, - ступай. ...В ту ночь до утра был Шарик на дворе. В одиночку был, вытянув в небо круглую свою глупую волосатую морду... И был и был, не давал графу спать, не давал тишине землю сном окутать... Понятно: собачья тоска - не фунт изюму!</p>	<p>- Šarik, voglio andare a casa... là. A Šarik si strinse il cuore: - Perché devi andare là?.. - Non va tanto bene qui da voi... Per noi è diverso... Tu, Šarik, non puoi capire... Ci vado a piedi. [...] Buryga uscì dal cancello. E di nuovo era notte in cielo. Essa sussurrava come in una preghiera verso il basso: - Vieni, Buryga, vieni... Dove ne hai bisogno, ti avvolgerò nelle tenebre, dove ne hai bisogno, ti porterò sulle ali, vieni. ...Quella notte, fino al mattino, Šarik ululò in cortile. Ululava da solo, allungando in cielo il suo sciocco muso rotondo... E ululava e ululava, senza lasciare dormire il conte, senza lasciare che il silenzio avvolgesse la terra nel sonno... È chiaro: la malinconia di un cane non è mica uno scherzo!</p>
--	--

Il finale della storia è aperto. Buryga parte per il bosco, ma il lettore non sa se riuscirà ad arrivarci. Si può affermare allora che l’ambientazione del racconto segua un andamento circolare: bosco – città –

¹²⁰ Ivi, p. 112.

bosco. L'ultima scena, non a caso, riprende il *topos* della natura, attraverso la descrizione della notte (che chiama Buryga a sé) e del cane Šarik, che ulula per il dispiacere.¹²¹

Il messaggio finale che Leonov vuole dare è chiaro: anche se il futuro di Buryga è incerto (non si sa se sopravvivrà o se riuscirà a tornare al bosco), quello che conta è la vittoria del mondo naturale su quello civilizzato. La natura è dipinta come l'unico luogo in cui si preservano i valori della purezza e della sincerità, mentre la città è il simbolo della corruzione dell'anima.¹²²

3.2 *Uchod Chama*

Dei tre racconti qui presi in esame, il più simbolico è senza dubbio il secondo, *Uchod Chama*. Scritto nel luglio del 1922, narra la storia di Noè e dei suoi tre figli (Sem, Cam, Jafet) alle prese con la costruzione dell'arca e con l'arrivo del diluvio universale. Tuttavia, come si è già accennato, Leonov reinterpreta l'episodio biblico per fornire al lettore una nuova versione dei fatti.

L'opera si apre con una descrizione idilliaca del paesaggio:

<p>Тогда цвела земля.</p> <p>Не оставались бесплодны поля: платил колос земледельцу семь полных горстей зерна за зерно. Домой не возвращался без добычи зверолов: топором он убивал двух, сидящих в западне, сразу. Радовалось сердце виноградаря: каждый грозд винограда его, насыщенный солнцем, был прозрачен и нежностью походил на грудь женщины Киттим из Элассара.</p> <p>Цвела черная плоть земли, которая — как рабыня под солнцем, господином. Было звонко ее цветенье — как крик буйволицы о весне. Цвело и пело все, обладающее жизнью. Пел зверолов, напрягая лук в онагра, — земледелец, вскапывающий поле, пел. Пел пастух, ведя вечерних овец к</p>	<p>Allora la terra fiorì.</p> <p>I campi non rimanevano inferti: la spiga ripagava l'agricoltore per ogni seme con sette pugni di grano. Il cacciatore non tornava a casa senza bottino: uccideva due prede in trappola contemporaneamente con un colpo d'ascia. Il viticoltore aveva il cuore pieno di gioia: ogni suo grappolo d'uva, impregnato del sole, era trasparente e assomigliava teneramente al petto della donna Kittim di Elassar.</p> <p>Fiorì la terra nera, che è come una serva sotto il sole padrone. La sua fioritura era sonora, come il grido di una bufala alla primavera. Fiorì e cantava tutto ciò che aveva vita. Cantava il cacciatore, che tendeva l'arco contro l'onagro, e il coltivatore, che vangava il campo. Cantava il pastore, che di sera conduceva le pecore alla</p>
---	--

¹²¹ *Ivi*, p. 114.

¹²² *Ibidem*.

<p>водопойному корыту, — виноградарь, выжимающий сок гроздьев, пел. Пел репей, простирая колючки над песчаным камнем, — и птица пела, вдоль Хиддекеля направляя широкое крыло.</p>	<p>vasca dell'abbeveratoio, e il viticoltore, che spremeva il succo dei grappoli. Cantava la lappola, che stendeva le sue spine sopra le rocce coperte di sabbia, e cantava l'uccello, mentre si dirigeva con le sue larghe ali verso il fiume Hiddekel.</p>
--	--

La terra fiorisce, i campi sono fecondi. Ciò che però colpisce è che questo passo è in netta contrapposizione con l'*incipit* del capitolo corrispondente nella *Genesi*:

Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: “Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato: con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti”. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore.¹²³

Pertanto, se nella *Genesi*, e dunque nella storia originale, la causa del diluvio universale è la corruzione dell'uomo, che ha provocato dolore a Dio, nel racconto di Leonov l'uomo non ha alcuna colpa. Non a caso, l'uomo è visto come un *unicum* inseparabile dalla natura che lo circonda: il cacciatore tende l'arco contro l'onagro, il coltivatore vanga il campo, il pastore canta e porta le pecore alla vasca dell'abbeveratoio, il viticoltore sprema il succo d'uva.¹²⁴

Non solo la descrizione del paesaggio è in antitesi con il testo biblico: anche la caratterizzazione dei personaggi, in particolare di Noè e Cam, è diversa. Come si analizzerà in maniera più approfondita in seguito, nella *Genesi* Cam viene cacciato per aver commesso un peccato, mentre nell'opera di Leonov Cam ha la sola colpa di assistere al peccato che in realtà è stato compiuto dal padre, e non dal figlio. Per dare un'idea di come Leonov abbia descritto Cam e Noè in maniera antitetica, si può notare come il silenzio dei due personaggi acquisti significati diversi nei seguenti passi¹²⁵:

<p>Когда услышал, запел Иафет, потрясая топором. Голос его был тягуч и низок, как звук рыкающего льва. Сим затаил усмешку, меря привычным глазом расстояние до неба,</p>	<p>Sentite queste parole, Jafet cominciò a cantare, brandendo l'ascia. La sua voce era monotona e bassa, come il suono di un leone che ruggisce. Sem trattenne un sorriso, mentre</p>
--	---

¹²³ *La Bibbia. Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana*, Piemme, Milano 2004, p. 15.

¹²⁴ K. S. Kogut, *Apokaliptičeskie obrazy v rasskaze Leonida Leonova «Uchod Chama»*, “Problemy istoričeskoj poetiki”, 2016, p. 418, consultato al link <https://cyberleninka.ru/article/n/apokaliptičeskie-obrazy-v-rasskaze-l-leonova-uhod-hama> in data 10/05/2019.

¹²⁵ *Ivi*, p. 419.

<p>еще не грозившего дождем. Хам сидел, зажав лицо в коленях, и не говорил.</p>	<p>misurava con occhio abituato la distanza dal cielo, che ancora non aveva minacciato di piovere. Cam era seduto, col viso stretto tra le ginocchia, e non parlava.</p>
---	--

<p>А когда смолили ковчег, к ним пришел человек в льняной одежде, Иавал из Элассара. Он привел сына и дочь. Она, юная, имевшая имя Имны, была невестой Хассу, сына Актала, царя Адмы.</p> <p>Иавал! — он упал на колени перед Ноем и поцеловал нижнюю грязь кожаного его плаща, говоря:</p> <p>— Знаю о гневе, знаю о гибели. Слушай, Ной. Я прошел трудный путь двух дней. Не должно погибнуть семя Иавала на земле. Вот я прихожу и стучусь. Спаси семя Иавала в сыне моем!</p> <p>Молчал Ной, три сына его молчали. Еще сказал Иавал, простираясь в грязь и прах вчерашней непогоды:</p> <p>— Тяжела борода моя днями, как медом пчелиный сот. Пастух, возьми бороду мою и, намотав, как веревку, дерни вверх и вниз. И вытри ею ослий помет с порога твоего шатра. Спаси сына!</p> <p>Молчал Ной, закрывая полою плаща лицо себе, ибо тут обнажил старик тело дочери и стал кричать, ударяя себя в щеку:</p> <p>— Ее имя полнозвучно, как звучащая медь Баураха. Розовость ее груди — гляди! Как будто в розовой раковине родилась она. Живот ее дышит, — разве плохо тебе</p>	<p>E quando incatramarono l'arca, arrivò da loro una persona in abiti di lino, Jabal di Elassar. Ha portato con sé il figlio e la figlia. Quest'ultima, giovane, che porta il nome di Imna, era la fidanzata di Hass, figlio di Aktal, re di Adma.</p> <p>Jabal! – egli cadde in ginocchio davanti a Noè e baciò lo sporco sul lembo inferiore del suo mantello di pelle, dicendo:</p> <p>- So dell'ira, so della morte. Ascolta, Noè. Ho percorso un cammino arduo per due giorni. Non deve morire il seme di Jabal sulla terra. Ecco io vengo da te e batto alla tua porta. Salva il seme di Jabal in mio figlio!</p> <p>Taceva Noè, e anche i suoi tre figli tacevano. Jabal, stendendosi sul fango e sulla polvere del maltempo del giorno prima, disse ancora:</p> <p>- La mia barba è pesante da giorni, come il favo delle api col miele. Pastore, prendi la mia barba e, dopo averla avvolta come una corda, tirala su e giù. E usala per pulire lo sterco d'asino dalla soglia della tua tenda. Salva il figlio!</p> <p>Taceva Noè, mentre si copriva il volto con una falda del mantello, poiché in quel momento il vecchio aveva denudato il corpo della figlia e aveva iniziato a urlare, colpendosi sulla guancia:</p>
--	---

<p>положить сюда свою голову, тяжелую гневом, и спать, покуда будешь плыть и подыматься выше гор. Раствори врата девства ее, но спаси Иавалова сына!..</p> <p>Ной открыл уста говорить, но подошел Иафет к уху Ноя и произнес отцу:</p> <p>— Кто он, Иавал, чтоб спасать его семья. У него дрожит голова, а этот не задушит и собаки. Пусть уходит! Слепого, когда в огне ищет убежища, разве пощадит огонь?</p> <p>И поднес Сим тонкие губы к другому уху отца:</p> <p>— Ты возьми дочь, а этого мы убьем в ковчеге. Равно ему, где гибнуть, если гибель ждет его.</p> <p>Тогда показал спину Ной пришедшему Иавалу:</p> <p>— Иди в Элассар. Нехорошо умереть вне дома. Семья твое пожрут рыбы с зеленым пятном на голове.</p>	<p>- Il suo nome risuona come il rame sonoro di Baurach. Il colore roseo del suo petto – guarda! Sembra sia nata in una conchiglia rosa. Il suo ventre respira – non ti farebbe bene appoggiare qui la tua testa, appesantita dall’ira, e dormire mentre fluttui e ti sollevi oltre le montagne? Apri le porte della sua verginità, ma salva il figlio di Jabal!..</p> <p>Noè aprì la bocca per parlare, ma Jafet si avvicinò all’orecchio di Noè e disse al padre:</p> <p>- Chi è lui, Jabal, per salvare la sua prole? Gli trema la testa, questo non strangola nemmeno i cani. Che se ne vada! Il fuoco ha forse pietà del debole che cerca riparo durante un incendio?</p> <p>E Sem portò le labbra fini all’altro orecchio del padre:</p> <p>- Prendi la ragazza, e lui lo ammazziamo nell’arca. Gli è indifferente dove morire, se la morte lo attende.</p> <p>Allora Noè mostrò la schiena a Jabal che era giunto poco prima:</p> <p>- Vai a Elassar. Non è bello morire fuori di casa. La tua prole la divoreranno i pesci con la macchia verde sulla testa.</p>
---	--

Nel primo passo si fa riferimento al momento immediatamente successivo a quando i personaggi del racconto vengono a sapere dell'imminente caduta delle acque. Come si evince dal testo, mentre Jafet canta (e la sua voce risuona come il ruggito di un leone) e Sem sorride, Cam tace, e mette la testa tra le gambe, indice del fatto che sta meditando. Il silenzio del protagonista è ben diverso da quello di Noè, come si evince nel passo successivo. Qui si fa riferimento al momento in cui nella capanna di Noè e dei suoi figli si presenta Jabal a chiedere di essere salvato dal diluvio universale. Noè tace, mentre ascolta il racconto di Jabal. Tuttavia, quando apre la bocca per parlare, Jafet e Sem gli

suggeriscono di mandarlo via e addirittura di ucciderlo. Così Noè ascolta il loro consiglio e caccia Jabal, asserendo profeticamente che la sua prole sarà divorata dai “pesci con la macchia verde sulla testa”. Dunque il silenzio di Noè è in preparazione a una risposta crudele, che condanna a morte il destino di Jabal e dei suoi discendenti.¹²⁶

Con l’arrivo del diluvio universale, il paesaggio passa da essere idilliaco a buio e oscuro. Non a caso, si ripete più volte la frase «Ночь темна», ovvero “La notte è buia”. Con la caduta delle acque, mandate da Dio, soccombe tutto il creato, ad eccezione di coloro che si trovano nell’arca di Noè. Eppure, non è solo Dio a essere crudele nelle sue azioni. Anche Noè, infatti, contribuisce al compimento del castigo del Signore, scacciando un uccello che cerca riparo nell’arca¹²⁷:

<p>Улеглись бездны над городами земли. Над водой летит уцелевшая птица. Жалобен крик птицы, потерявшей гнездо. Она кружит ослабевшим крылом и садится на ковчег Ноя, плывущий во тьме. Рука человека высовывается из окна в крыше, и машет бичом, и прогоняет птицу. Она подымается высоко, но вода бросает ее в пучину. Жалобен крик птицы, падающей в пучину.</p>	<p>Gli abissi si son calmati sopra le città della terra. Sopra l’acqua vola un uccello sopravvissuto. Lamentoso è il grido dell’uccello che ha perso il suo nido. Vola con un’ala spezzata e si posa sull’arca di Noè, che naviga nelle tenebre. L’uomo mette la mano fuori da una finestra del tetto, agita la sferza e scaccia l’uccello. Questo vola in alto, ma l’acqua lo getta nell’abisso. Lamentoso è il grido dell’uccello che cade nell’abisso.</p>
---	---

È proprio quando i personaggi principali si trovano all’interno dell’arca che si raggiunge il climax del racconto. Cam, infatti, intona la sua “canzone sull’inizio” e racconta a Noè e ai suoi fratelli il mito della creazione:

<p>«Слушайте, моя песнь о начале. Была пустота, и все было одинаково. Тишина охраняла все. Отец сказал, чтоб земля и солнце стали быть. Солнце и земля, села! Она зачала от солнца и родила яблоню, человека и пчелу. Села! Солнце лежало и правой руке Отца, а в левой — земля»...</p>	<p>“Ascoltate la mia canzone sull’inizio. C’era il vuoto, e tutto era uguale. Il silenzio proteggeva ogni cosa. Il Padre disse alla terra e al sole di iniziare a esistere. Sole e terra, selah! Essa venne generata dal sole e generò un melo, un uomo e un’ape. Selah! Il sole stava alla destra del Padre, e la terra alla sua sinistra”...</p>
---	--

¹²⁶ *Ibidem.*

¹²⁷ *Ivi*, p. 420.

<p>Факел посылает струйки дыма вверх. Иафет пришивает заплату на плащ Мадаю. Вторит Хамову голосу глухая кожа тимпана:</p> <p>«Были пустоты и глубины наполнены водами мрака. В них отражался Отец. Тот, который отразился, пришел неслышно. Когда был близко — выхватил землю из руки Отца и прыгнул в глубины и пустоты. Он стал тогда вторым Отцом земли. Бытие дала ему земля»...</p> <p>Страхом напрягается лицо Ноя. Львица облизывает губы. Ветер ударяет по ковчегу крылом.</p> <p>«Тогда вздрогнуло сердце Отца. Он метнул яростной десницей солнце вослед похитителю. Он дал ему силу камня лететь, жар огня жечь. Оно качнулось пламенной дугой, летя. И тогда сорвались все шары, висевшие в глубинах и пустотах, и понеслись вокруг них, чтоб видеть, как ярость солнца пожжет грех земли. Ибо земля зачала от похитителя и родила Левиафана»...</p> <p>Ной гневно восстает на сына, но заглушает Ноевы слова грозное гуденье тимпана:</p> <p>«...бежал и уносил землю. А солнце приближало гнев, укорачивая пути и суживая кольца. Они бежали, а над ними бежали пустоты и глубины. Вечность, — вот имя пробегающих над головами нашими пустот и глубин. В те дни сказал похититель: ты умрешь, думающая о солнце. Я кладу конец дням земли. Криком людей не</p>	<p>La fiaccola manda rivoletti di fumo in alto. Jafet attacca una toppa al mantello di Madai. La pelle sorda del timpano fa eco alla voce di Cam:</p> <p>“Gli spazi vuoti e profondi sono stati riempiti dalle acque delle tenebre. In esse si rispecchiava il Padre. Colui che si rispecchiò, arrivò senza farsi udire. Quando fu vicino, strappò la terra dalla mano del Padre e saltò negli spazi vuoti e profondi. E diventò allora il secondo Padre della terra. La terra gli diede la vita”...</p> <p>Il viso di Noè è teso per il terrore. La leonessa si lecca i baffi. Il vento colpisce l’arca con l’ala.</p> <p>“Allora il cuore del Padre ebbe un sussulto. Con la mano destra lanciò furiosamente il sole dietro al ladro. Gli diede la forza della pietra per volare, il calore del fuoco per bruciare. Il sole oscillò come un arco in fiamme, mentre era in volo. E allora caddero tutti i globi, appesi negli spazi vuoti e profondi, cominciarono a vorticare, per vedere l’ira del sole bruciare il peccato della terra. Poiché la terra era stata generata da un ladro e aveva generato il Leviatano”...</p> <p>Noè insorge con ira contro il figlio, ma supera le parole di Noè il rombo minaccioso del timpano:</p> <p>“...correva e portava con sé la terra. E il sole faceva avvicinare l’ira, accorciando le strade e restringendo gli anelli. Correivano, e sopra di essi correivano gli spazi vuoti e profondi. L’eternità: ecco il nome degli spazi vuoti e profondi che correivano sopra le nostre</p>
--	---

<p>сжалится ухо Отца. Хотя бы и я умер с тобою»...</p> <p>Слова разгневанного Ноя вот:</p> <p>— Или ты думаешь, что я поклонялся похитителю в благостную ночь завета?...</p> <p>Бич опоясал голую спину Хама. Иафет пошел к ложу жены. Сим опробовал на волосе острие ножа. Хам спросил у Ноя:</p> <p>— Кто дал силу разуму твоему бить меня?</p> <p>Слова Ноя:</p> <p>— Долголетие жизни моей.</p> <p>Слова Хама:</p> <p>— Дает долголетие человеку остроту разума, но не самый разум!.</p> <p>Слова Ноя:</p> <p>— Твоя цена — цена пса!..</p>	<p>teste. Il quei giorni il ladro disse: morirai pensando al sole. Io metto fine ai giorni della terra. L'orecchio del Padre non si impietosirà al grido delle persone. Anche se anch'io morirò con te"...</p> <p>Ecco le parole dell'infuriato Noè:</p> <p>- Oppure pensi che io abbia venerato il ladro nella notte piacevole della promessa?...</p> <p>Il flagello cinse la schiena nuda di Cam. Jafet andò sul letto della moglie. Sem provò la lama del coltello sui capelli. Cam chiese a Noè:</p> <p>- Chi ha dato forza alla tua mente di colpirmi?</p> <p>Le parole di Noè:</p> <p>- La longevità della mia vita.</p> <p>Le parole di Cam:</p> <p>- La longevità dà alla persona l'acutezza dell'intelletto, non l'intelletto stesso!.</p> <p>Le parole di Noè:</p> <p>- Il tuo valore è quello di un cane!..</p>
---	--

La canzone parla di Dio che, dopo aver generato il Sole e la terra, si rispecchiò nelle acque delle tenebre, generando così “il secondo Padre della terra”. È evidente che con “il secondo Padre” Leonov faccia riferimento al diavolo, e al fatto che il male sia presente sulla terra. Ciò che Leonov vuole dare a intendere al lettore è dunque che Noè non ha sentito la chiamata di Dio, bensì quella del diavolo. Questo è evidente soprattutto nelle frasi profetiche della canzone di Cam: “Io metto fine ai giorni della terra. L'orecchio del Padre non si impietosirà al grido delle persone”. Allora Noè è colpevole di essersi piegato al volere del diavolo e di averlo assecondato nell'annientamento di tutti gli esseri viventi sulla terra. Noè non crede alle parole della canzone di Cam, eppure si arrabbia con quest'ultimo e lo cinge col flagello. Ecco perché l'incontro di Noè con quello che in realtà era il diavolo era avvenuto, all'inizio del racconto, in una notte di tempesta¹²⁸:

¹²⁸ *Ivi*, pp. 420-421.

<p>— Пусть никто не говорит со мной. В ночь, которая прошла, я пошел во тьму Гаукадского камня. Небо лопалось и шумело, а я вышел из круга стад и пошел к холмам, которые по ту сторону отражает Хиддекель. Они круты, молнии ломают на их склонах свои спины, спеша упасть. Я прислонился к стене и сделал себя подобным тыкве, выдолбленной для чужого вина. Был отдаленный гул, словно горы дули в трубу. Я задержал дыханье. Вот завет минувшей ночи, слышанный мной:</p> <p>«Я Отец. Я кладу конец дням земли. Криком людей не сжалиться ухо Отца. Седьмое солнце уйдет за Гаукад, вот я кидаю воды. Они войдут во все трещины земли, будь то уста царя или щель горы, лоно женщины или чаша цветка. Построй дом, чтоб плавал. Ты покинешь долину Хиддекеля, где качаться станут отныне рыжие горячие пески. Никакой не скажет: здесь жили. Никакой не ответит: да».</p>	<p>- Che nessuno parli con me. La notte scorsa sono andato nel buio della roccia di Gaukad. Il cielo si squarciava e tuonava, e io sono uscito dal recinto delle mandrie e sono andato sui colli, che Hiddekel riflette su quel lato. Sono ripidi, i fulmini nella fretta di cadere spezzano le loro schiene sui loro versanti. Mi sono appoggiato alla parete e mi son fatto simile a una zucca, scavata per contenere il vino altrui. Ci fu un rompo lontano, come se le montagne soffiassero in una tromba. Ho trattenuto il respiro. Ecco la promessa, sentita da me la scorsa notte:</p> <p>“Sono il Padre. Io metto fine ai giorni della terra. L’urlo delle persone non impietosisce l’orecchio del Padre. Quando il settimo sole se ne andrà oltre Gaukad, io lancerò le acque. Entreranno in tutte le crepe della terra, sia la bocca di un re o la fessura di una montagna, il grembo di una donna o il calice di un fiore. Costruisci una casa che possa navigare. Abbandonerai la valle di Hiddekel, dove inizieranno a oscillare d’ora in poi le sabbie rosse e calde. Nessuno potrà dire: vivevano qui. Nessuno risponderà: sì”.</p>
---	--

Anche Cam prima del diluvio universale ha un incontro con un essere soprannaturale. Tuttavia, a differenza del padre, egli incontra Dio, in piena luce del giorno, il quale esalta, al pari di Cam, la bellezza della natura che sarà poi distrutta dal diluvio¹²⁹:

<p>Варит мясо Иафет, Сим стришет овна, в тимпан ударяет Хам. Вот слова Хамовой песни:</p>	<p>Cuoce la carne Jafet, Sem tosa l’ariete, suona il timpano Cam. Ecco le parole della canzone di Cam:</p>
---	--

¹²⁹ *Ivi*, p. 421.

<p>«Утром я пришел к источнику, где виноградники отца. В воде я увидел человека, подобного мне. Я сказал: земля цветет. Он ответил: да. Я сказал: земля, хорошо. Он ответил: да. Я сказал: гонится за нами солнце, скоро ребенок дотянется до него рукой. И он ответил мне»...</p>	<p>“Stamattina sono venuto alla fonte, dove ci sono le vigne del padre. Nell’acqua ho visto una persona, simile a me. Ho detto: la terra fiorisce. Lui ha risposto: sì. Ho detto: la terra, va bene. Lui ha risposto: sì. Ho detto: il sole ci insegue, tra poco il ragazzo arriverà a sfiorarlo con la mano. E lui non mi ha risposto”...</p>
--	--

Dopo la caduta delle acque, inizia un nuovo ciclo di vita, e questo momento è sancito dal sacrificio di una vittima compiuto da Noè. Tuttavia, anche in questo passo Leonov non rinuncia a dipingere Noè in modo negativo, attribuendogli lo sguardo di un “ladro”. La conferma che le azioni di Noè non sono dettate dal Padre, bensì dal diavolo, è data dal fatto che il fumo sacrificale non riesce a raggiungere il cielo (e quindi Dio)¹³⁰:

<p>На ближнем камне принес благодарную жертву Отцу пастух Ной. У пего были глаза вора, когда он раскладывал огонь. Дымились благовония, но отнимал их от ноздрей Отца смрад земли.</p>	<p>Il pastore Noè portò sulla pietra più vicina la vittima gradita al Padre. Aveva gli occhi di un ladro, quando appiccava il fuoco. Le sostanze aromatiche mandarono fumo, ma il fetore della terra allontanò questo profumo dalle narici del Padre.</p>
--	---

Successivamente, inizia una lotta tra i fratelli Sem, Cam e Jafet per ottenere la benedizione del padre Noè. Va qui sottolineato che, nel racconto allegorico di Leonov, il primogenito è Jafet, seguito da Sem e Cam; mentre invece nel testo biblico la discendenza di Noè è costituita in ordine da Sem, Jafet e Cam. Come si capisce dal passo, Sem cerca di ottenere la benedizione dal padre mettendo in luce le cattive qualità degli altri fratelli: Jafet è inaffidabile, poiché “cerca il sostegno di una nuvola e cammina sul ciglio del burrone”, mentre Cam è sterile, quindi non può portare avanti la discendenza. Così Noè premia il più superbo dei tre figli, che si vanta di aver vinto sugli altri due¹³¹:

<p>К Ною подходит Сим, второй Ноя. — Я Сим. Благослови меня. Ной:</p>	<p>Si avvicina a Noè Sem, secondogenito di Noè. - Sono Sem. Dammi la benedizione.</p>
---	---

¹³⁰ *Ibidem.*

¹³¹ *Ivi*, p. 422.

— Но Иафет первенец мой.

Слова, исходящие с дрожащих губ

Сима:

— Я давал тебе хлеб и дам до конца дней. Выя моя — дом твой. Рука моя — посох тебе. Иафет, ва! Кто станет опираться на облако и ходить по краю обрыва? Он уходит, и каждый куст в болотах земли Хавила ему — шатер отца. Мое же сердце — ковш. Пей из него отдых полной мерой.

Ной говорит:

— Но Хам... Он последний мой.

Сим:

— Хам, неплодный Хам!

Тогда возложил Ной руку отца на голову Сима и низвел твердость железа на семя его. Благословляя, плакал, усомнившись в Иафете. Из праха, где лежал, восстал благословенный Сим и стал петь. Были коротки и хриплы порывы его голоса:

«Радуйся, Луд, мудрость твоя везде. Возвеселись, Элам, вижу я огромность стад твоих. Смейся, Ассур, ты воссядешь по стенам земных городов. Иафет, что ты? Тебя разрубят крылом птицы веков на части. Ты облако. Мы пройдем сквозь сынов твоих, как сквозь дым! Хам, кто ты, чтоб поднимать сердце, — или нет такого же сердца во мне? Зверь будет поедать твое семя. Иафет вознесет меч, а Сим опустит его на выю Хама... Я, Сим, иду как шар. Я все топчу, и все идет за мною. Я взрыхляю землю, чтоб дала плод. Я благословенный Сим!...»

Noè:

- Ma è Jafet il mio primogenito.

Le parole, che escono dalla bocca tremante di Sem, sono:

- Io ti ho dato il pane e te lo darò fino alla fine dei giorni. Il mio collo è la tua casa. La mia mano è un bastone per te. Jafet! Chi cerca il sostegno di una nuvola e cammina sul ciglio del burrone? Lui se ne va, e ogni arbusto nelle paludi della terra di Avila è per lui una tenda del Padre. Il mio cuore invece è come un recipiente. Bevi da esso il riposo con pienezza!

Noè:

- Ma Cam... Lui è il mio ultimogenito.

Sem:

- Cam, lo sterile Cam!

Allora Noè mise la mano del Padre sulla testa di Sem e fece scendere la durezza del ferro sul suo seme. Mentre dava la benedizione, piangeva, poiché aveva dubitato di Jafet. Dalla polvere, su cui era disteso, si sollevò Sem benedetto e iniziò a cantare. I suoni della sua voce erano brevi e rauchi:

“Rallegrati, Lud, la tua saggezza è ovunque. Gioisci, Elam, vedo la vastità del tuo bestiame. Ridi, Assur, ti siederai sulle mura delle città terrestri. Jafet, che c'è? Verrai fatto a pezzi dall'ala dell'uccello dei secoli. Sei una nuvola. Passeremo attraverso i tuoi figli come passiamo attraverso il fumo! Cam, chi sei tu per rallegrare il cuore, o forse non c'è proprio cuore in me? Una bestia divorerà la tua prole. Jafet solleverà la spada, e Sem l'abbasserà sul collo di Cam... Io, Sem, corro come una sfera. Calpesto

	tutto, e tutto viene dietro di me. Scarifico la terra affinché possa dare il suo frutto. Io sono Sem benedetto!..”
--	--

Dopo quest’episodio, si arriva alla parte finale del racconto, che giustifica la scelta del titolo da parte dell’autore. Sulla terra sembra essere tornata la pace: “fiorisce la terra che ha dimenticato”, e la moglie di Cam, Kesil¹³², dà alla luce il loro figlio, Canaan. L’armonia è però interrotta da un fatto terribile. Cam scopre il padre Noè che giace “in un amoroso languore” con sua moglie Kesil. Cam accorre dunque a chiamare i fratelli, ma questi si rifiutano di guardare la nudità del padre. Noè, dopo aver compreso di essere stato scoperto, punisce Cam lanciando una maledizione su di lui e sul figlio Canaan:

<p>Тут видит Хам страшное для своего разума. Кулак он поднял над головой и бежал к братьям, которые ели овечий сыр в тени большого дерева. Он звал их, и они пришли, а Хам скакал и протягивал палец бесчестья в отца, спавшего в любовной истоме под виноградным кустом с женой его, Кесилью. Но братья закрыли лица свои и не видели.</p> <p>Когда Ной, восстановленный в силах гневом, увидел, что узвано его дело, крик сломал губы ему. Он проклял Хама, как Отец землю в дни ковчега:</p> <p>— Покрой лицо себе копотью очага и уходи от моих шатров. Две беды, два льва, загородят путь тебе, но ты жди четырех. А когда придут четыре, — жди восьми. Ханаан — раб Фираса и Мадая, Луда и Ассура. В</p>	<p>In quel momento Cam vide qualcosa di terribile per la sua mente. Sollevò il pugno sopra la testa e corse dai fratelli, che stavano mangiando il formaggio di pecora all’ombra di un grande albero. Li chiamò, e loro accorsero, e Cam saltava e puntava il dito del disonore contro il padre, che giaceva in un amoroso languore sotto un arbusto d’uva con sua moglie, Kesil. Ma i fratelli si coprirono i volti e non videro niente.</p> <p>Quando Noè, a cui l’ira aveva ridato le forze, vide che il suo gesto era stato scoperto, un grido ruppe le sue labbra. Maledisse Cam, come il Padre fece con la terra nei giorni dell’arca:</p> <p>“Copriti il viso con la fuliggine del focolaio e vattene dalle mie tende. Due disgrazie, due leoni ti sbarreranno il passo, ma tu aspetta che ne arrivino quattro. E quando ne</p>
--	--

¹³² È doveroso fare una precisazione sui nomi di persone che Leonov prende dalla tradizione biblica. In *Uchod Chama*, sono presentate le mogli di Sem, Jafet e Cam rispettivamente con i nomi di Sella, Isca e Kesil, mentre invece nel testo biblico le mogli dei figli di Noè non sono mai menzionate con il loro nome. In altri casi, sembrerebbe che Leonov abbia commesso degli errori: per esempio, nel racconto compare una donna di nome Imna, mentre nella *Bibbia* tale nome è usato per indicare un uomo; la donna Kittim, invece, corrisponde in realtà nel testo religioso a un popolo (gli Ittiti).

<p>Ханаане, в семени своем выпьешь ты позор, как горькое вино неудачной осени. И страус, который скачет, птица желтой пустыни, положит яйца в горячий песок на пороге твоего шатра... Пусть забудет об огне отросток Ханаана!</p>	<p>arriveranno quattro aspettane il doppio. Canaan è il servo di Tiras e Madai, di Lud e Asur. In Canaan, nella tua prole berrai il disonore, come il vino amaro di un autunno sfortunato. E lo struzzo che salta, uccello del deserto giallo, deporrà le uova nella sabbia bollente sulla soglia della tua tenda... Che il rampollo di Canaan si dimentichi del fuoco!</p>
---	---

Interessante notare come nel testo biblico il fatto sia raccontato diversamente. Cam, infatti, scopre sì il padre Noè nella sua nudità, ma non di certo con una donna:

Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e giacque scoperto all'interno della sua tenda.

Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori.

Allora Sem e Iafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono il padre scoperto; avendo rivolto la faccia indietro, non videro il padre scoperto.

Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore; allora disse:

“Sia maledetto Canaan!

Schiavo degli schiavi
sarà per i suoi fratelli!”.

E aggiunse:

“Benedetto il Signore, Dio di Sem,

Canaan sia suo schiavo!

Dio dilati Iafet

e questi dimori nelle tende di Sem,

Canaan sia suo schiavo!”.¹³³

Noè scaccia dunque il figlio Cam, costretto all'esilio. Questi, insieme alla moglie Kesil e al figlio Canaan, si dirige “oltre il recinto dei greggi”. Il passo finale del racconto è molto emblematico:

¹³³ *La Bibbia. Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana*, pp. 17-18.

<p>Перед лицом горы, вокруг которого шагают бешеные ветры, остановился Хам. Последняя песнь Хама:</p> <p>«Холод усыпляет Ханаана. Ветер гонит в спину меня. Когда приду на место, не стоящее под непогодой, положу четыре камня, высеку огонь. Я обсушу мокрую спину и пошлю камень в ту сторону, где твои стада. Пусть ты, услыша свист его, вспомнишь жалобные дни ковчега.</p> <p>«Дни текут, как овцы к водопою. Кто остановит, смелый, теченье вешних вод и напор безудержного стада! Я увижу правнуков Ханаана. Когда я буду уходить, вот я говорю им: это Тот, который там, вверху, велел вам забывать об огне и кричать так, как кричат ночные звери. Это Тот»...</p> <p>Идет скот, треть от Ноева скота. Их головы направлены туда, за хребты морозящих гор, куда уходит солнце на ночь и птица в зимние дожди.</p> <p>Там, в полуденном жару настагающего солнца потемнеет лицо Хама.</p>	<p>Cam si è fermato davanti alla facciata della montagna, attorno cui corrono i venti furiosi. L'ultima canzone di Cam è:</p> <p>“Il freddo fa addormentare Canaan. Il vento mi spinge sulla schiena. Quando arriverò al posto in cui non ci sarà il maltempo, poserò quattro pietre, accenderò il fuoco. Asciugherò la schiena bagnata e lancerò una pietra nella direzione in cui ci sono i tuoi greggi. Che tu possa ricordarti, sentendo il suo fischio, dei giorni tristi dell'arca.</p> <p>“I giorni scorrono come le pecore verso l'abbeveratoio. Chi fermerà, coraggiosamente, il corso delle acque primaverili e la pressione del gregge sfrenato! Vedrò i pronipoti di Canaan. Quando me ne andrò, dirò loro: è Lui che sta lassù che vi ha ordinato di dimenticarvi del focolare e di gridare come le bestie della notte. È Lui”...</p> <p>Cammina il bestiame, un terzo del bestiame di Noè. Le loro teste sono rivolte al di là delle cime delle montagne bagnate dalla pioggia, dove se ne va il sole per la notte e l'uccello nelle piogge d'inverno.</p> <p>Là, sotto il sole caldo di mezzogiorno, s'incupirà il viso di Cam.</p>
---	--

Cam canta l'ultima canzone, dove esprime il desiderio e la speranza di trovare un posto felice sulla terra, dove “non ci sarà il maltempo” e dove potrà accendere il fuoco. Anche in questo caso, la ricerca di un luogo comodo è contrapposta ai “giorni tristi dell'arca”. Tuttavia, il volto di Cam è cupo, poiché nonostante sia il portatore della verità, è stato cacciato dalle sue terre. Il racconto si conclude con una nota di minaccia, e il finale aperto fa capire al lettore che il destino dell'umanità è incerto. Questo,

chiaramente, non può che essere ricollegato alla situazione sociale e politica della Russia postrivoluzionaria in cui Leonov si trovava al momento della stesura di *Uchod Chama*.¹³⁴

Per scrivere questo racconto Leonov si è dunque servito della materia biblica (evidente nei nomi dei personaggi, nello sviluppo della trama e nello stile caratterizzato dalla ripetizione), ma ha conferito all'opera un significato diametralmente opposto rispetto a quello presente nel testo sacro. Questo assume un rilievo ancor maggiore se lo si ricollega al concetto (già esposto) di “continuità della cultura” che Thomson ha individuato nei primi racconti di Leonov:

Ham sees what others refuse to see. He is cursed by his father and driven out, but he is not destroyed, and his story survives. For Leonov Ham is the archetypal artist (he is frequently depicted singing), and his burden of knowing and telling the truth that others do not want to know carries a prophetic charge into the later history of Soviet literature. The truth is unacceptable and it becomes a secret that he must keep to himself, even though he is its victim rather than its perpetrator. This link between the possession of guilty secrets, both personal and collective, that have to be concealed, and the need to keep the memory alive is the faith of the artist, at least in Soviet conditions.¹³⁵

3.3 *Derevjannaja koroleva*

L'ultimo racconto, del quale sarà fornito un quadro generale, è *Derevjannaja koroleva*, composto tra luglio e agosto del 1922. Rispetto agli altri due racconti analizzati, questo è sicuramente quello che più si rifà ai principî della letteratura modernista russa, e in particolare a quelli del simbolismo.

Il protagonista di *Derevjannaja koroleva*, Vladimir Nikolaevič Izvekov, è un intellettuale (probabilmente un insegnante) che ama trascorrere il tempo libero giocando a scacchi. E già nell'*incipit* del racconto, Leonov lo presenta immerso in una partita di scacchi all'interno del suo appartamento, dove sembra prendere vita “il samovar sbilenco del padrone”. A questa rappresentazione di un luogo chiuso e tranquillo si contrappone l'ambientazione esterna, dove infuria la tempesta di dicembre. La tempesta di neve (e questo è rintracciabile in tutto il racconto) è accompagnata dall'immagine di uno o più flauti:

И уж, конечно, ничего тут странного нет. ...Однажды ночью сидел Владимир Николаевич у столика и отдыхал за	E già, certamente, qua non c'è niente di strano. ...Una volta, di notte, Vladimir Nikolaevič si sedeva sul tavolino e giocava a
--	---

¹³⁴ *Ivi*, p. 423.

¹³⁵ Thomson, op. cit., p. 29.

<p>шахматами, — повторял Стаунтоновский, раннего периода, королевский гамбит, помещенный еще в «Palamède» в семидесятых годах. На столе позади него пел медную песенку хромой хозяйкин самовар.</p> <p>...Тогда за окном пушил декабрь, и белые снежные кони хорошей метели вихрем несли по городу синие санки сна. И как будто кто-то играл на флейте, и как будто флейта играла сама. [...]</p> <p>Самовар вздыхал вычищенной своей грудью, стихал на минутку крошечную, и снова потом начинала сонно ползать по комнатке тихая песенка самоварной тоски. В таком перерыве Владимир Николаевич передвинул ладью и задумался над ферзем. Стаунтон уходил здесь в неясные дебри конной атаки и с непонятнодиким упорством бил конем с f3 на d4, а потом развивал прекрасную комбинацию на левом своем фланге... Владимир Николаевич ясно представлял себе другой вариант, - а именно: королева идет с d5 на a5, как играл впоследствии Андерсен против Кизерицкого, а оттуда, — правда, рискуя катастрофой, — можно было прямо поставить угрозу белому центру... Владимир Николаевич решил разработать этот вариант и, закулив папиросу, устремил глаза за окно.</p> <p>...Там неслышный лёт ветровых копыт пронизывал синюю ледяную глубь ночи. И уносились... и набегали новые. И весь тот снежный поток, как флейта был. И чьи-то</p>	<p>scacchi per riposarsi, - ripeteva il gambetto di Re di Staunton del primo periodo, messo ancora in “Palamède” negli anni Settanta. Sul tavolo dietro di lui il samovar sbilenco del padrone cantava una canzonetta metallica.</p> <p>...In quel tempo oltre la finestra dicembre faceva sentire il suo peso, e i bianchi cavalli innevati di una bella tormenta portavano vorticosamente per la città l’azzurro slittino del sonno. Ed era come se qualcuno suonasse il flauto, ed era come se il flauto suonasse da solo. [...]</p> <p>Il samovar sospirava col suo petto lustro, si calmava per un breve attimo, e poi di nuovo una sommessa canzonetta del samovar malinconico iniziava fiaccamente a strisciare per la stanza. In quell’intervallo di tempo Vladimir Nikolaevič spostò la torre e iniziò a riflettere sulla regina. Staunton si perdeva qui nel ginepraio dell’attacco del cavallo e con un incomprensibile e furioso accanimento batteva col cavallo dalla F3 alla D4, e poi sviluppava la magnifica combinazione al suo fianco sinistro... Vladimir Nikolaevič si immaginava chiaramente un’altra variante, e cioè: la regina andava dalla D5 alla A5, come faceva successivamente Andersen contro Kizerickij, e da lì – per la verità, rischiando una catastrofe – si poteva direttamente minacciare il centro dei bianchi... Vladimir Nikolaevič decise di elaborare questa variante e, dopo essersi messo a fumare una sigaretta, puntò lo sguardo oltre la finestra.</p>
--	---

<p>сильные руки высоко вознесли над домами смеющуюся флейту.</p>	<p>...Lì il volo silenzioso degli zoccoli di vento squarciava l'azzurra ghiacciata profondità della notte. E si allontanavano... e accorrevano di nuovi. E tutto questo flusso di neve era come un flauto. E le forti mani di qualcuno sollevarono il flauto ridente sopra le case.</p>
--	---

L'attenzione di Vladimir Nikolaevič è catturata dalla partita, ma ad un certo punto sente "il sommesso fischio del flauto della tormenta". Il suono melodioso dei flauti inizia dunque poco a poco ad attirare il protagonista, finché:

<p>Стало вдруг необычайно хорошо, — не потому ли вдруг оборвалось медное курлыканье самовара?.. И взамен его тихий женский смешок пробежал по комнате и вбежал в ухо Владимира Николаевича и спрятался у него в сердце самом. Ясно, что он обернулся, — но то, что он увидел, было не совсем ясно. Он заметил на шахматной доске, сразу разросшейся всюю... ...а флейта все пела. Пробежала по ней белая рука вперед, убежала назад...</p>	<p>Improvvisamente si stava straordinariamente bene – non era forse perché era cessato di colpo il verso metallico del samovar? .. E al posto suo una sommessa risatina di donna percorse la stanza e penetrò nell'orecchio di Vladimir Nikolaevič e gli si nascose proprio nel cuore. Chiaro che lui si girò, ma ciò che vide non era affatto chiaro. Notò sulla scacchiera che all'improvviso si era dilatata a più non posso... ...e il flauto continuava a suonare. Era percorso avanti e indietro da una mano bianca...</p>
--	--

È proprio in questo momento che il piano della realtà inizia a confondersi con il piano del sogno. In questo momento infatti si innesca una sorta di delirio del protagonista, che si ritrova trasformato in un pezzo degli scacchi, costretto a giocare una partita all'interno di una scacchiera ingigantitasi a grandezza d'uomo.

Mentre Izvekov prende coscienza di ciò che gli sta accadendo, incontra la regina nera, che gli porge un biglietto. Allo stesso tempo, però, l'anima sembra "raffreddarsi in lui". Sentendo la morte vicina, con un enorme sforzo riesce a svegliarsi dalla dimensione onirica in cui era precipitato:

<p>...Испуганным взглядом ощупал Извеков и эти четыре крупно разросшихся</p>	<p>...Con uno sguardo spaventato Izvekov tastò sia queste quattro pareti diventate</p>
--	--

стены, и этот разбухший в медную гору самовар. Да, — он, Владимир Николаевич Извеков стоял на шахматном поле, на ход коня от королевы, и та протягивала ему сложенную вчетверо записку. Он взял, и, когда улеглась записка та поудобнее в треугольном, с отворотом, кармане бархатного его камзола, стало ясно осознанной вдруг вся внезапность эта и странность этой внезапности... Это привело его в неопиcуемый страх и даже ужас. Да, - он стал черным левофланговым офицером деревянного короля.

Еще мгновенье и сознание начало стынуть в нем, и лакированным деревом в уровень с глазами блеснула собственная рука его, приподымающая шляпу, вытереть испарину испуга. Последним бешеным скачком каменеющей волн вырвались у него четыре деревянных слова:

— Нет, не хочу... нет...

...Где то совсем недалеко пропела громкая, как охотничья труба, метельная флейта. Потом что-то передвинулось, острый угол стал тупым и исчез, уничтожился на одной прямой в ничто; качнулось, как цветок; и снова треугольником стал нечаянный квадрат тот.

Самовар вернулся откуда-то и стал слышным, а сам Извеков оказался сидящим в трехногом, — а четвертою хозяйкино ведро, — кресле и как будто задремавшим даже. Он протер глаза, припомнил и захотел улыбнуться столь витиевато

gigantesche, sia questo samovar ingrossatosi come una montagna d'ottone. Sì, lui – Vladimir Nikolaevič Izvekov stava in piedi sulla scacchiera, alla distanza di una mossa del cavallo rispetto alla regina, e quella gli tendeva un biglietto piegato in quattro. Lui lo prese, e quando quel biglietto si posò più comodamente nella tasca triangolare coi risvolti del suo giustacuore di velluto, fu di colpo chiaramente comprensibile tutta questa repentinità e la stranezza di questa repentinità... Questo gli provocò un'indescrivibile paura e addirittura terrore. Sì: era diventato ufficiale nero del fianco sinistro della regina di legno.

Ancora un attimo e la coscienza iniziò a raffreddarsi in lui, e come legno brillò la sua mano a livello degli occhi, che sollevava il cappello ad asciugare il sudore della paura. Con un ultimo rabbioso sforzo di volontà quasi già impietrita gli uscirono a stento quattro parole legnose:

- No, non voglio... no...

...Da qualche parte vicino si mise a suonare il flauto della tormenta, forte come un corno da caccia. Poi qualcosa si spostò, l'angolo acuto divenne ottuso e scomparve, si annullò in una linea retta che portava verso il nulla; oscillò come un fiore e di nuovo quell'improvviso quadrato divenne un triangolo.

Il samovar fece ritorno chissà da dove e si fece sentire, e lo stesso Izvekov si ritrovò seduto in una poltrona a tre gambe – la quarta gamba era un secchio del padrone – ed era addirittura come in dormiveglia. Si stropicciò gli occhi, gli

<p>проскользнувшему сну, но... на доске было то самое, из миллиарда единственное положение, когда черный ферзь и чужой слон во имя блистательнейшего из концов взаимно связываются тонкими нитями шахматного узора.</p>	<p>affiorò il ricordo e gli venne voglia di sorridere pensando al sogno che gli era balenato, così contorto, ma... sulla scacchiera c'era proprio quella stessa, unica posizione su un miliardo, in cui la regina nera e l'alfiere nemico in nome della più brillante delle conclusioni si legano reciprocamente con i fili sottili del disegno degli scacchi.</p>
---	--

Il protagonista pensa di aver sognato, ma i pezzi sulla scacchiera sono disposti nello stesso modo in cui erano mentre stava sognando, il che lo porta inevitabilmente a pensare che sia tutto accaduto realmente. Un altro dettaglio a conferma di questa teoria è che ritrova il biglietto della regina, che era caduto per terra, e quindi nel mondo reale delle cose:

<p>А на полу, возле самых ног упавшая оттуда белела записка. В ней стояли простые слова: «Милый, хочу всегда с вами быть. Рвусь к твоему сердцу вся из моей деревянной клетки. Один вы у меня, — все они, кругом, деревянные...»</p>	<p>E per terra, proprio vicino ai piedi si vedeva il biglietto che era caduto da lì. In esso erano scritte semplici parole: “Caro, voglio restare sempre con te. Dalla mia gabbia di legno sono tutta tesa verso il tuo cuore. Ho solo te, tutti gli altri, intorno, sono di legno...”</p>
--	--

Confuso per quanto successo, nonostante sia “già mezzanotte”, il protagonista decide di recarsi dal suo amico (che presto si trasformerà nell'antagonista del racconto), Boris Viktorovič Kolomnickij. Quest'ultimo, anch'egli “appassionato di ogni stravaganza nel mondo degli scacchi”, è descritto come “l'unico e paziente confidente dei pochi segreti di Izvekov”. I due amici si siedono sugli scacchi e iniziano una partita. Il protagonista con una mossa dopo l'altra riesce a ottenere la vittoria sull'altro, che rimane sopraffatto dalla sconfitta. Proprio quando riappare l'immagine della tormenta che mormora oltre le finestre, Izvekov decide di raccontare all'amico dell'incontro avvenuto con la regina di legno e di mostrargli il biglietto d'amore da lei scritto. Kolomnickij non crede però al racconto dell'amico. Il rapporto tra i due inizia perciò a incrinarsi, e Kolomnickij, da amico fidato qual era, passa a essere una minaccia per Izvekov:

<p>Можно было бы рассказать все ясно и просто, утаив про записку, — и ничего бы не вышло тогда, но Владимир Николаевич предпочел показать ту самую записку, из другого плана, из деревянной шахматной клетки. Он протянул ему руку свою открыто, как протягивал сердце свое в течение трех этих лет, и тот взял.</p> <p>Тут побледнел весь Коломницкий, и задрожала у него нижняя почему-то губа, и спросил досадно и враждебно усмехнувшись:</p> <p>— Ты с ней давно знаком?</p> <p>— С кем?</p> <p>— С Анкой...</p> <p>— Кто?</p> <p>— Ты.</p> <p>— Я? - Да я совсем никакой Анки и не знаю... Ты с чего нахмурился-то?</p> <p>Тот перебил Извекова, и в голосе вздрогнуло нехорошо:</p> <p>— Ты-то? Ты, конечно, не причем тут! Все дело в том.., что записку эту писала невеста моя... вот про которую я тебе расписывал давеча... Здесь и буквы ее внизу: А. и Р., и почерк ее. Для меня, конечно, признаюсь...</p> <p>Извеков [...] принялся горячо, но сбивчиво, рассказывать и объяснять приятелю и про то, как нежно пела флейта во вчерашней метели, и как записку уронила ему черная из шахматных полей королева, и еще, и еще... Говорил искренно, говорил, не скрывая ни слова, говорил целых полчаса.</p>	<p>Si potrebbe aver raccontato tutto in modo chiaro e semplice, tenendo nascosto il biglietto, e non sarebbe successo niente allora, ma Vladimir Nikolaevič preferì mostrargli quel biglietto, che proveniva da un'altra dimensione, dalla gabbia di legno degli scacchi. Egli gli stese la mano apertamente, come aveva fatto col suo cuore nel corso di questi tre anni, e quello lo prese.</p> <p>Allora Kolomnickij impallidì tutto, e il suo labbro inferiore iniziò chissà perché a tremare, e con una risatina indispettita e ostile gli chiese, sogghignando:</p> <p>- La conosci da tanto?</p> <p>- Chi?</p> <p>- Anka...</p> <p>- Ma di chi parli?</p> <p>- Di te.</p> <p>- Io? Io non conosco nessunissima Anka.</p> <p>Perché sei così accigliato?</p> <p>Quello interruppe Izvekov, e la sua voce emise un suono scontroso:</p> <p>- Tu? Tu certo non c'entri nulla qui! Il fatto è che... questo bigliettino l'ha scritto la mia fidanzata... quella che ti avevo descritto tempo fa... Ci sono anche le lettere qui in fondo: A. e R. e la sua firma. Per me, certo, lo ammetto...</p> <p>Izvekov [...] iniziò con calore, ma in modo sconclusionato, a raccontare e spiegare all'amico di come il flauto avesse suonato teneramente durante la tormenta del giorno prima, e di come la regina nera degli scacchi gli avesse lasciato cadere il biglietto, e ancora, e</p>
---	---

<p>Но, когда в котелке над керосинкой забурлило вдруг, Коломницкий встал, обрывая Владимир Николаевичевой речи нестройный поток, зевнул и сказал:</p> <p>— Я тебе не верю, потому что не верю ни в чох, ни в сон, ни в рыбий глаз, ни в какие чудеса не верю. И потом вот что: сейчас я буду есть, а потом я спать лягу.</p>	<p>ancora... Parlava sinceramente, parlava, senza nascondere alcuna parola, parlò per una mezz'ora. Ma, quando la zuppa nel pentolino sul fornello a petrolio cominciò di colpo a ribollire, Kolomnickij si alzò, interrompendo il flusso disordinato del discorso di Vladimir Nikolaevič, sbadigliò e disse:</p> <p>- Non ti credo, poiché non credo né ai segni premonitori, né ai miracoli. E poi ecco: adesso mangio, poi vado a dormire.</p>
--	---

Se da una parte si interrompe il rapporto d'amicizia con Kolomnickij, dall'altra parte per Izvekov inizia una storia d'amore con la regina di legno:

<p>...Еще несколько раз, в вечерах, метелью отмеченных, видел Владимир Николаевич, как оживала черная его королева, которая на той записке маленькой поставила нежные свои две буквы: А. и Р. И каждый раз, когда ходом коня становился он на шахматную доску рядом с нею, успевал он только поймать один лишь быстрый и милый королевин взгляд. И если начинало сердце хотеть вдруг, чтоб не прерывалось деревянное счастье это, делался молниеносно треугольником неведомый квадрат, и распрямлялся некий угол в нечто: так 180 и так 180, - выпадало тайное из цепи звено. И просыпался он из сна в наш, этот план, и барахтался в тяжелой, осадочной луже неутоленной минуты...</p> <p>И вот пришла тогда к Владимиру Николаевичу любовь, большая, как</p>	<p>...Ancora qualche volta, nelle sere segnate dalla tormenta, Vladimir Nikolaevič vedeva come si rianimava la sua regina nera, che aveva posto teneramente le sue due iniziali in quel piccolo biglietto: A. e R. E ogni volta, quando con una mossa del cavallo si ritrovava sulla scacchiera vicino a lei, riusciva a cogliere solamente uno sguardo veloce e gentile della regina. E se il cuore avesse iniziato di colpo a volere che questa felicità di legno non si interrompesse, sarebbe diventato all'istante della luce da triangolo a sconosciuto quadrato, e un certo angolo si sarebbe appiattito fino a scomparire: così 180° e così 180°, sarebbe caduto l'anello segreto della catena. E si sarebbe risvegliato dal sonno nella nostra, in questa dimensione, e avrebbe sguazzato in una pozza pesante, stratificata, di un minuto non appagato...</p>
--	---

<p>семибашенный дом. И стала душа его жить в этом доме, и было ей очень хорошо.</p>	<p>Ed ecco che allora era arrivato l'amore da Vladimir Nikolaevič, grande come una casa a sette torri. E la sua anima iniziò a vivere in questa casa, e si sentiva molto bene.</p>
---	--

La felicità di Izvekov non dura però molto. Una sera, infatti, accade qualcosa di terribile per quest'ultimo: la regina di legno scompare. Izvekov si precipita da Natal'ja, che probabilmente è un'inservente di Izvekov, ma che nel delirio del protagonista viene rappresentata come una strega paffuta. È proprio Natal'ja a rivelargli che nell'appartamento c'è stato Kolomnickij, il quale si è portato via il pezzo degli scacchi tanto importante per Izvekov, lasciando solamente un bigliettino appuntato al muro:

<p>А в один из вечеров случилось большое горе: королева пропала. Ее не стало нигде — ни здесь, ни там, ни вот там... В тот вечер бомбой вылетел Владимир Николаевич на кухню, - там жила толстая ведьма Наталья:</p> <p>— Она выходила отсюда, - ты видела?</p> <p>- допрашивал Владимир Николаевич, мотая головой.</p> <p>Ведьма сделала прыжок от корыта назад и сумела только промычать:</p> <p>— Да не-ет... никто не выходил... не-ет...</p> <p>Владимир Николаевич знал, как нужно с ведьмами разговаривать:</p> <p>— Был у меня кто-нибудь? — чуть руку ей не вывихнул Извеков.</p> <p>— Тот... рыжий, товариш твой, был...</p> <p>Потом ушел, письмо тебе к стенке наколол...</p> <p>— Высокий?</p> <p>— Да с тебя...</p> <p>— Рыжий?</p>	<p>E una sera accadde qualcosa di molto spiacevole: la regina scomparve. Non c'era più da nessuna parte: ne qui, ne lì, né da qualche altra parte... Quella sera Vladimir Nikolaevič volò come una bomba in cucina, dove viveva una strega, piuttosto grassottella, di nome Natal'ja:</p> <p>- Veniva da qui, hai visto niente? – continuava a domandare Vladimir Nikolaevič, scuotendo la testa.</p> <p>La strega fece un salto indietro dalla vasca per il bucato e riuscì solo a mugghiare:</p> <p>- Ma noo... nessuno veniva da qui... noo...</p> <p>Vladimir Nikolaevič sapeva come bisognava rivolgersi alle streghe:</p> <p>- C'è stato qualcuno qua? – per poco Izvekov non le slogò il polso.</p> <p>- C'è stato quel... rosso, tuo amico... Poi se n'è andato, ha appuntato una lettera al muro per te...</p> <p>- Alto?</p>
---	--

<p>— Рыжий, кажись...</p> <p>Ну конечно, это был Коломницкий, — он и унес крошечный кусочек дерева, где спала королева душа. Извеков застонал тут, ему одному знакомым манером застонал и, согнувшись, бросился в комнату искать записку. Она висела на стенке, приколотая к обоям ржавым пером:</p> <p>«Ухожу вместе с ней. Все выясню. Ты меня не разыскивай, — не вводи меня во искушение».</p>	<p>- Sì come te...</p> <p>- Rosso?</p> <p>- Rosso, pare...</p> <p>Ma certo, era Kolomnickij, - si era portato via anche il pezzettino di legno, dov'era rinchiusa l'anima della regina. Izvekov cominciò a gemere, emise un gemito in un modo solo a lui conosciuto e, piegandosi, si precipitò nella stanza a cercare il biglietto. Era appeso al muro, attaccato alla carta da parati con una piuma color ruggine:</p> <p>“Me ne vado con lei. Spiegherò tutto. Non cercarmi, non provocarmi”.</p>
--	--

Il protagonista non si dà pace per la scomparsa della regina di legno. Trascorre le serate a camminare per le strade innevate, nella speranza di scorgere la sua amata tra i volti dei passanti, cosa che alla fine accade. Come sempre, la comparsa della regina di legno è segnata dall'arrivo della tempesta di neve, che con la sua potenza fa perdere i sensi al protagonista, permettendogli così di passare nella dimensione dell'irrealtà.

Improvvisamente Izvekov capisce che l'unico modo per riconquistare la sua regina è attraverso una nuova partita a scacchi contro il suo oramai nemico Kolomnickij. Perciò si precipita a casa e inizia a giocare:

<p>...Извеков бежал домой, опрокидывая попутно тени, прохожих испуганные улыбки и встречного ветра живые валы, — размахивал руками... Уже в самых дверях остановился, вытер лоб рукавом, - вбежал, присел к шахматам.</p> <p>Вместо ферзя в клетку королевы встала притертая графина пробка, вместо Коломницкого — огарок стеариновой свечи... Фигуры встали по местам. Извеков криво усмехнулся кому-то, невидно</p>	<p>...Izvekov correva verso casa, agitando le mani, rovesciando le ombre al suo passaggio, i sorrisi spaventati dei passanti e gli ammassi vivaci del vento che gli veniva incontro... Si fermò solo sulla porta, si asciugò la fronte con la manica, corse dentro e si sedette davanti alla scacchiera.</p> <p>Al posto della regina nella casella c'era il tappo lappato del conte, al posto di Kolomnickij c'era il moccolo di una candela di stearina... I pezzi si erano messi al loro posto. Izvekov fece</p>
---	---

<p>стоявшему у стены, подмигнул и кашлянул... Игра началась. [...]</p> <p>...Мело острозернистым снегом по переулку, как тогда, в начале самом.</p>	<p>un sorriso sghembo a qualcuno, che stava invisibile vicino al muro, strizzò l'occhio e fece un colpetto di tosse... La partita iniziò. [...]</p> <p>...La neve turbinava nel vicolo granulosa e pungente, come allora, all'inizio di tutto.</p>
---	--

L'estenuante partita ha l'esito sperato: Izvekov rovescia il moccio di candela (cioè Kolomnickij) e raggiunge così la regina:

<p>Она сидела возле, в черном вся — столько раз желанная, выигранная, но не достигнутая никогда, метельные глаза остановив на нем. Кто-то потянул его к ней, — он бросился, он схватил ее руку и целовал точеную, милую ее ладонь и пальцы. Глядел в глаза, в уме повторяя всю свою блистательную партию наизусть, - читал ее, одинаковое с начала и конца, — «Анна», родное имя, — и таяло все и, уносилось, и казалось, что стали стены, как двери... и снежной пылью хороших, - не одной, а тысяч метелей подернулось и заволоклось все вокруг.</p> <p>И шептал он ей милый любовный вздор, и слова, как хлопья снега, плясали вверх и вниз над ними. И целовал бесчисленно точеную эту руку, отворившую в нездешнюю радость дверь... И вышли оттуда тысячи согласных флейт навстречу этим двум.</p>	<p>Lei era seduta vicino, tutta vestita di nero - così tante volte desiderata, vinta, ma mai raggiunta – fermando su di lui il suo sguardo di tormento. Qualcuno lo trascinò da lei: lui si lanciò, afferrò la sua mano e baciò il suo palmo, sottile e caro, e le dita. La guardava negli occhi, ripetendo a mente tutta la sua brillante partita a memoria - recitava il suo nome, “Anna”, che è uguale se letto dall'inizio o dalla fine – e tutto si scioglieva e svaniva, e i muri sembravano diventare porte... e tutto attorno si coprì di una polvere innevata – non di una, ma di migliaia di forti tormento.</p> <p>E le bisbigliò una simpatica frasetta d'amore, e le parole, come fiocchi di neve, danzavano su e giù sopra di loro. E baciava all'infinito questa mano sottile, che aveva aperto la porta a una felicità non terrena... E da lì arrivarono incontro a questi due migliaia di flauti in coro.</p>
---	--

Ma quando Izvekov capisce che ottenere l'amore della regina equivale al trasformarsi per sempre in un pezzo degli scacchi senz'anima, cambia idea e si risveglia dal sogno:

<p>Владимир Николаевич раскрыл глаза, прищурился, вытянул руку и разжал ладонь, — там лежал шахматный, деревянный, теплый его теплотой ферзь.</p> <p>Фигуры рассыпались по полу. Согласные, как слепец с поводырем, пели метель и хромой хозяйкин самовар.</p> <p>...Метель неслась, но пахло оттепелью, и за ровными поверхностями нанесенного снега верилось в грязные холодные талые лужи.</p>	<p>Vladimir Nikolaevič aprì gli occhi, li strizzò, stese la mano e l'aprì: lì c'era la regina degli scacchi, di legno, tiepida per il suo calore.</p> <p>I pezzi erano sparsi per terra. La tormenta e il samovar sbilenco del padrone cantavano in armonia, come il cieco con la guida.</p> <p>...La tormenta continuava a infuriare, ma già c'era un sentore di disgelo e, al di là delle superfici piatte della neve che caduta, si presentivano le sporche pozzanghere di neve sciolta e fredda.</p>
---	--

Dopo essersi destato, il protagonista apre la mano, in cui è racchiusa la regina di legno. Gli altri pezzi degli scacchi sono sparsi per terra, a riprova del fatto che Izvekov ha giocato davvero quell'ultima partita. Fuori, il paesaggio sta cambiando: la tormenta ha lasciato il suo posto al disgelo, segno che il piano dell'irrealtà è stato sostituito con quello della realtà.

Ma le ultime due frasi del racconto lasciano intendere al lettore che forse il sogno non è ancora (e forse non sarà mai) concluso, poiché nella stanza di Izvekov entra la “strega” Natal'ja:

<p>Вошла в комнату толстая ведьма Наталья: — Там к тебе тот, рыжий, пришел...</p>	<p>Entrò nella stanza la paffuta strega Natal'ja: - È venuto da te quel tale, coi capelli rossi...</p>
---	--

Queste due frasi conclusive sono molto importanti perché con esse la storia sembrerebbe riprendere dal punto in cui la regina di legno è stata sottratta al protagonista, il che conferisce al racconto una struttura circolare. Ancora una volta il finale aperto lascia il lettore con un senso di incompiutezza.

La storia appena analizzata presenta una crisi della realtà del protagonista, da cui deriva un'evasione dal mondo vero in una dimensione onirica. Ecco perché il piano della realtà si compenetra continuamente con quello dell'irrealtà (e quindi del sogno). A metà tra questi due mondi si trova la regina di legno, il pezzo degli scacchi che prende vita e sembra diventare reale durante i numerosi sogni del protagonista. Interessante da questo punto di vista l'analisi della regina di legno che offre Vachitova:

[...] шахматная королева – это и высшее воплощение идеала, способного сделать сознание более тонким и пронизательным, можно сказать, гениальным, но одновременно затягивающим в бездну и смерть. Герой переживает метафизическую трагедию: он достигает невероятного взлета в своих шахматных штудиях и там, на вершине, обнаруживает только смерть.¹³⁶

Questa tematica della continua contrapposizione tra vero e falso, tra realtà e sogno, tra sanità e malattia è alla base della corrente del simbolismo russo, ed è quindi largamente presente sia nella poesia che nella prosa di autori come Blok e Belyj. In *Derevjannaja Koroleva*, il giovane Leonov si mette alla prova riprendendo questo tema caro ai simbolisti russi e produce così un racconto fantastico (ma comunque ambientato nel mondo reale russo), ricco di immagini fortemente simboliche (come quella della tempesta) e di esperimenti linguistici come l'uso di metafore ardite.

¹³⁶ T. M. Vachitova, Intertekstual'nyj fler rokovych krasavic v proze Leonida Leonova, "Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 8: Literaturovedenie. Žurnalistika", 2011, p. 29, consultato al link <https://cyberleninka.ru/article/n/intertekstualnyj-fler-rokovyh-krasavits-v-proze-leonida-leonova> in data 29/05/2019.

4. Versione originale e traduzione in lingua italiana

«Бурыга»

В. Д. Фалилееву

I

В Испании испанский граф жил. И были у него два сына: Рудольф и Ваня. Рудольфу десять, а Ване еще меньше.

В средних еще годах профершпилил граф все свое состояние на одной комедиантке заезжей, а к старости остался у него лишь пиджак да дом старый, который даже и починить не на что было. Тогда же жена графова от огорченья и померла.

...Вот живет граф в нижнем этаже, там еще хоть мебель осталась, а в парадных залах, наверху, живому не житье: крыша протекает, зимой топить нечем, — там графовы дедушки на портретах помещаются, им-то все равно. Сам граф на почте главным служил, ребята его испанскую грамоту учили, кухарка суп варила: так и жили.

Да пришел к ним в одном студеном декабре случай непредвиденный: пошла ихняя кухарка на реку белье полоскать, нашла детеныша-нос-хоботом. Вышла она к реке, глядит и видит: сидит в сугробе этакой мохнатенький: замерзает, видимо. Из-под рубашонки копытца торчат, а нос предлинный, нечеловечий нос, — ручонками он его трет.

Жалостлива кухарка была, руками всплеснула, головой замотала:

— Экой ты! Ведь замерзнешь!..

А тот поглядел на нее исподлобья да басом на нее:

— Ну-к што ж!

Разволновалась баба, схватила детеныша в охапку, запихала под белье, домой пустилась опрометью... А из белья всю дорогу детеныш трубел:

— Ни к чему все это! Так, пустяки все одни! Зря это ты, баба...

II

...Принесла домой, отрезала ему хлеба с фунт, шубейкой накрыла, стала насупротив, удивляется:

— Откудова ты такой, дитятко? И не обезьяна и на дитенка не похож...

Урчит детеныш:

— Мы не тутошние!

...А сам ухватился за краюху, жрет, — только хвостик у него из-под шубейки вздрагивает. Был у него хвостик так себе, висюлькой, а рожки конфетками.

...Тут вышел на кухню сам испанский граф, чтоб самовар поставить, увидел детеныша, отскочил даже сперва, а потом на кухарку грозно так наступать начал:

— Этта что такое? Где это ты такое диво выискала? Зачем он тут?

...Стала кухарка сказывать:

— Как вышла я этто к реке, вижу — сидит в снежке, ножонки вытянул, замерзывает...

...Гмыкнул граф, поближе подошел:

— Н-да... Нос у него, действительно.

...Задумался сперва, а потом взял детеныша за нос и дернул вниз.

Заворочался детеныш, взъерошился, буркнул прямо в упор графу:

— Дурак ты, паря, во што!

Дал ему граф за такие слова затрещину, но потом погладил ласково, спросил:

— Так вон оно как! Ты даже и разговаривать можешь... Тебя зовут-то как?..

Протянул деловито:

— Буры-ыга!

И как сказал это слово детеныш, заржал граф, захохотал, как из бочки, — посуда на полках запрыгала, канарейка спросонья с жердочки свалилась, заслонка у печки грохнулась. И откуда у него глотка такая: сам никудышный — сквозь пиджак ребра видны. Хохотал-

хохотал, да вдруг взгрюмился, боясь кухаркино уваженье потерять, показал бабе на Бурыгу, прикрикнул и настрого приказанье дал:

— Ты его мылом карболовым да нафталинцем опосля мытья. Мы из него лакея приспособим!.. Вот!

И ушел граф спать, и про самовар забыл.

...Весь вечер ел Бурыга, кухарке в диковину, а Рудольф с Ваней весь вечер проспорили: настоящий это детеныш или так, только нарочно... И уж под самую ночь, когда все спали, а Бурыга, лежа, дожевывал четвертый фунт, притащили графовы ребята сигару детенышу, у отца стащили. Бурыга взял сигару, молча съел, причмокнул и сказал:

— Ну-к што ж, ничево! Приходите, когда не сплю — расскажу кой-што там, разное...

И тут замотал головой, втянул носом воздух, как насосом, и пронзительно чихнул. Ваня вздрогнул и вылетел из кухни стрелой, другой за ним. А Бурыга чихнул им вдогонку еще раз, зевнул и стал засыпать.

В кухне пахло щами, тараканами и карболкой. И уже спросонья мечталось Бурыге так:

«Э-эх, бруснички ба!...»

III

...Хорошо жилось Бурыге в зеленом привольи леса. Там по утрам солнце ласково встает: оно не жжет затылка, не сует тебе клубка горячей шерсти в глотку оно свое там, знакомое. Там затянет по утрам разноголосая птичья тварь на все лады развеселые херувимские стихеры, там побегут к болотному озерку неведомые, неслыханные лесные зверюги... Ранними утрами поет там лес песню, а над ним идут, идут, идут алые облака, глубятся, сталкиваются: то не ледоход небесный — то земные радости плывут.

...Выходит из своего логова детеныш Бурыга, — он летом в норке этакой живет; он спросонья на пни натывается; он, зеленый, в зеленом крадется кустарнике, он похрамывает по кисельным зыбунам, шустро сигает через мертвые пни, кубарем катится, вьюнцом идет... Вот он сядет на прогалинке, он хихикает и морщится, он сидит-прискакивает, греет спинку, сушит шерстку под солнышком, а солнышко теплой лапкой его гладит, — жмурится и щурится, мурлыкает незатейную песенку, язык мухоморам кажет... А те нарядились, как к обедне, выстроились толстые и тонкие в ряд... Шесть их по счету, и весело им поэтому.

...А вот вечер. Солнце спряталось, — по небу обсосанная карамелька, луна, ползет. Уж тут и начало развеселой гулянке ночной.

Шагает Бурьга к старому лохматому пню, там живут его приятели и знакомцы Волосатик и Рогуля. Волосатик, он и кругленький и мохнатенький, вроде как бы лешев внучек, гнилая осина мать ему, а Рогуля — полосатый, серое с зеленым, сухой да тонкий, как аршин, кривулинка на ножках. Он все больше насчет божественного любил: откуда свет пошел, кто лешему набольший, почему вода мокрая... Волосатик же покурлесить страсть любил, похихикать. Бурьга — бруснику...

...Как оденет влажный падымок озерки, зазвенят жалобно комариные клубки, — повалятся с дерев, как жолуди, вылезут из-под земли, выскочат из пней, вышмыгнут из ерника болотники да окаяшки разные, нечисть лесная...

...Вот крадутся по земле длинноногие и коротышки, взрачные и никудышные, гораздые и мразь. Уж они рассядутся по пням, по выпученным корневищам, облепит лужайки беспутная, срамная, нечистая чадь, — калякает по-своему лесное сонмище, игры разные как бы устраивают, а некоторые — срам сказать! — на балалайках-самодельщинках тринкать навыкли...

...Тут заурчит дурак-пугач, векша зашевелится в кустарнике; порскнет, пугаясь ночных кустов, заяц; шарахнется нетопырь — чертова игрушка... А в небе снова месяц стал: не карамелькой уж, а необычайным пером райской птицы. Тогда с тайной сладостью затенькает вверху соловей, и вдруг осторожный хруст за болотной топью сменится отчаянным смертным криком: то зеленоглазый окаяшка оседлал разнесчастливого зайца. Лихо идет по бору гул да уханье...

Но едва пролетит полночь по небу, тогда сразу куда что денется: комарье в болотную труху, окаяшки — кто в землю, кто в воду, под желтые купавки уйдут, а кто зацепится железной когтей за сук да и провисит так до завтрашнего вечера на манер осинового гнезда.

...Бурьга уж и спит. Уткнул нос-хоботом в трухлявую прошлогоднюю листву, дрыгает во сне ножонками, а из носу у него свист и пар: ни одна букашка бесприютная или загуляющий жук-фуфыра не решатся пристроиться на ночлег в Бурьгином носу...

...Идет по бору зеленый храп. Качаются сонно багуны да лютики. А из-под красных козырьков мухоморы угрюмо смотрят: шесть их по счету, никто их не видит, и обидно им, и не спится им поэтому...

IV

Осенью развешивал ветер по небу мокрые тряпки, жал их настойчиво, и из них шел на землю грязный скучный дождь.

...Давно уж на бору оталели бусы рябин, отшуршали краснолистые осины, — примета: лесной твари спать.

...Рогуля лазил на зиму в самое болото, в зеленое нутро, в теплую грязь — туда мороз не дощупает: сидел там, размышляя всю зиму о таинствах естества божья. Волосатик у знакомого медведя в берлоге угол снимал, а Бурыга все бродил по лесу, ждал, не выползет ли солнышко... А солнышко не выползало, а вместо него карабкались по небу мокрые тучи.

...Пробовал Бурыга шапку-непромокайку из воронья гнезда смастерить, да только вышло из этого огорченье одно: дожди шли сильные, а в том вороньем гнезде черноголовые мураши жили... Бродил по лесу.

...А тут по лесу бродить нельзя: на Ерофеев день, на волчью свадьбу, уставлено нечисти пропадать: в ту пору ходит дед по бору с дубиной, а в самом скука, и сам весь всклокоченный. Ему попадись тут под руку, он тебе либо хребет перешибет, либо доведет до смертного напуу.

А Бурыга вот ходил, хныкал, спрашивал заблудную ворону, нет ли там где солнышка; каркала ворона, а Бурыга воронья-то языка и не знал... Да если б и знал, не легче б было!

И уж когда пропадала совсем вера в нем, залезал он в дупло незанятое и ворочался там без сна всю зиму: точила его тоска, да и холод на бору не тетка!

V

Бывало весной на бору-то радостно. Развертывает по снегу алые ленты весна. Радуетя лес солнцу, земля проталинкам, душа весне...

Да вот не дождалось раз весны такой озорное племя, пришло горе горькое. Однажды громко утром запели топоры, они хряснули весело сизыми ладонями, они пошли гулять-целовать: куда поцелуют — там смерть... А еще тем же утром жестокими зубьями заскрежетали пилы, загрызли громко, запели звонко, — не замолишь слезой их лютого пенья... Встал на бору железный стон.

Всполошились окаяшки, да уж тут что поделаешь: зимой другого жилья не отыщешь, против железа не забунтуешь; смирись, подставь глотку под синие зубья, молчи.

Выскочил Бурыга из своего дупла зеленым листом, шмыгнул в орешину — никто не видал; помчался в дедову берлогу.

— Дядь, а дядь... Там лес рубят, там топоры пришли...

Безволосыми ресницами заморгал старик:

— Топоры-ы? Ну, пуцай их! Ничево, милачок. Вот я их ужо, вот я им покажу...

— Да што уж тут показывать... Идут, завтра здесь будут!

— Завтра, говоришь?.. Ничево, милачок! А я их ноне ночью и попужаю...

Успокоенно пробурчал Бурыга:

— Дядь, так я уж у тебя здесь посижу, а?..

— Сиди, милачок, сиди.

Пошел ночью дед лесорубов пугать: захохотал страшно, гугыкнул дважды, вдарил оземь прелым осиновым пнем, чтоб треску больше было, на четвереньках пробрался к прорубям. Глянул из-за орешины — затрепетал весь: там затоптана сапогами лесорубов мягкая лесная трава, полыхают там веселые костры, дремлют возле них усталые топоры, а ребята похлебку варят: на поверженных березах, в кумачовых рубахах сидят, поют. И песня их, с дымом мешаясь, по земле стелется. Лежит любимая лешева береза по земле, лежит, как зеленая лесная хоругвь.

Постоял дед, поморгал глазами, понял, что уходить надо: парни — в плечах сажень, любой с удару сосну собьет. Побрел дед обратно, а завидел детеныша — проскулил ему жалобно:

— Беги, милачок, куда знаешь, а здесь ноня не житье нам боле, беги-и!

Поворчал Бурыга, и в ту же ночь разошлись они в разные стороны: пошел дед к своему племяннику — тот лешим в соседнем бору состоял... Была у него в котомке страшная святочная харя — про всякий случай паспорт на имя какого-то Мокея Степанова, с подписями и приложением казенной печати — не подцарапайся, а на самом армячок этакой.

А Бурыга бродил-бродил, вышел на деревню. Та деревня, Власьев Бор, невелика, да в ней люди добрые жили.

VI

Жила-была на деревне бабка повитуха, люди Кутафьей звали. Про нее разное сказывали: она-де зла может принести; она-де девку присушит — кости из кожи, как пух из перины, вылезут; она-де, ежели в ссоре с кем, так и килу может и хомутик подкинуть сумеет — станет не человек, а безногая кабацкая затычина. Только неправда все это: Кутафья — добрая бабка: у ней в красном углу Неопалимая висит, и всегда перед ней лампадка оправлена; у ней в красном углу и страстотерпец есть такой, что от тридцати трех болезней помогает, и пузырек с ерданской водицей, из Святой земли привезен.

К ней и забрел Бурьга по снежному первопутью: забрался в клеть, в комочек свернулся, сидит-повизгивает. А Кутафье и снадобилось, как на грех, туда по делам пойти. Вошла бабка и застыла — холодной водой по спине: сидит мохнатый, кто бы-сь — не видно, визжит да словно бы топорище греет... Старуха к нему:

— Ты что это, супостат? Ты по каким-таким делам по чужим клетям ходишь? Эка! Уж ты не обворовать ли меня, бабку, вздумал?!

Бурьга зубами стучит:

— Я, — говорит, — сдыхать вот сюда, бабка, пришел.

Видит бабка — не вор, значит — добрый зверь.

— Да ты кто таков, чем занимаешься?

— Мы-та? Да ничем! Оттудова мы, из лесу. Лесные...

Бабку недоумок взял:

— Ну, ладно. Некогда мне с тобой растабаривать, подь в избу, там столкуемся!

И впрямь столковались. Вымыла его бабка в бане, чтоб избу не поганил, дала ему мужа покойного валеные, дала картуз мужнин вроде рукомойника. Стал Бурьга у бабки жить, на полатах спать; стал Бурьга словно бы деревенский мужичок.

Кутафье занеможется — детеныш в зимнюю пору и за дровами на огород ходит, и воды принесет, и курочку у соседа скрадет для хворой бабки... А людям и невдомек спросить, что, мол, это у тебя за дитенок, Кутафья, объявился... Думали все — внучек порченый.

Бурьга на Власьевом Бору обжился, иной раз и на вечерки хаживал. Придет, встанет в угол от ребят порознь, глядит исподлобья; девки его за блажного считали, насмехались все:

над блажным посмеяться — тебе не грех, а тому души спасенье... А одна девка, Ленка, — вот насмешница:

— Выходи, — смеялась, — за меня замуж, Бурыга... Ой, я тебя в жаркой баньке попарю, спать с собой положу, а любить-то я тебя как стану-у...

Ворчал Бурыга себе под нос, оглядывал Ленку с головы до пят, — Ленка крутобедрая, парни зубами лязгают, — трубел хмуро:

— Врешь ты все... Не будешь ты меня любить, не за што...

А Ленка пуще изгилялась, в самые глаза Бурыгины заглядывала:

— Да я уж и ума не приложу, как тебя замуж-то взять... Уж больно целоваться-то с тобой неспособно... Ты мне носищем своим все глаза повыколешь!..

Сопел.

VII

Да вот что потом случилось.

Приехал на масляной в деревню Власьев Бор барин-брюки-на-улицу, при часах и штиблетах, в руке палка, толстый, из города. Приехал-то он по делам: к Семену Гирину лес торговать, а Бурыга, как на грех, по воду о ту пору и шел. Увидел его барин, смекнул в башке, помчался в Кутафьину избу, пристал к бабке, как банный лист; уговаривает бабку, в лицо ей винищем так и разит:

— Он что, внучек тебе, што ли?

— Внучек, батюшка, внучек...

— Врешь, бабка, — энтот экземпляр не человечесий... Ты мне продай, бабка, детеныша! Человек я хороший, ему у меня неплохо будет. Буду его колбасой кормить, научу на велсипеде ездить, буду людям за двугривенные показывать... Продай, бабка, тыщу не пожалею!

Бабка и туда и сюда; и жалко, и как будто ни капельки: все равно к лету сбежит, а барин из себя важный, да и тыщи на полу не валяются. К тому же скажем так: давно хотелось бабке для праздников платье такое иметь, — чтоб шурстело и коричневое.

— Што ж, сказала, — возьми, не нехристь же ты, кормить-поить станешь... Да только мало уж очень, сынок, тыщи-то, пожалей старушку, прибавь три рубли...

Барин тут гоготать взялся. Прыгает у него на грудях золотая цепка, брюхо того гляди из-под жилетки вывалится. Достал барин портмоне́т, отсчитал сто рублей копейками, благо старуха неграмотна, а от доброты еще три рубля прибавил и за сговорчивость полтинник дал.

Расцвела Кутафья, помогает барину в мешок Бурьгу укладывать, а тот было отбиваться стал, барина зубами за варежку; зашипел барин:

— Я вот тебя, чертище...

Дал детенышу под-микитки, тот и стих: много ль безродной окаяшке надо!

Просунул барин в мешок хлебца краюху, чтоб с голоду детеныш в дороге не подох: сто три с полтиной — деньги не малые, швырнул мешок в сани, погоготал еще по-жеребиному и уехал. Даже у подрядчика не побывал: заспешил с чего-то барин.

Долго потом тосковала Кутафья, что за Бурьгину кофту с барина придачи не взяла.

VIII

На станции переложил барин Бурьгу из мешка в чемодан, еще хлебца дал, ключом защелкнул, залез в вагоне на верхнюю полку спать.

Всю дорогу зверем храпел. Поспит, проснется, просунет руку в чемодан, дернет Бурьгу за нос сонного, а то и ногтящем в нос прищелкнет, для собственного удовольствия, и конфетку даст.

Было в чемодане душно, но было и еще кой-что: прямо в живот Бурьге уперся железной своей головой граненый флакон и как будто насквозь Бурьгу хотел проткнуть. Но детеныш надувал живот, и флакон нехотя отодвигался в сторону. Тогда свирепела щетка, бывшая у Бурьги в головах, и всеми своими тонкими зубьями, как шильями, впивалась в Бурьгину шею. Бурьга огрызался, как мог, Бурьга тихонько плакал и закусывал хлебцем.

...Барин с извозчика сошел возле большой деревянной коробки с облупленной вывеской и строго глянул на извозчика. Тот виновато поморгал рыжими глазами, стыдливо почесал кнутовищем лошаде́нкину спину и вдруг лихо выбросил:

— Двугривенничек!..

Барин молча протянул ему фальшивый четвертак и важно прошел в подъезд. Человек, сидевший за конторкой, дважды сложился ножиком и благоговейно застыл: барин грохнул чемодан на прилавок — флакон и щетки сразу напали на детеныша! — и проговорил с достоинством:

— Гривен за восемь...

Ножик зашипел, подсовывая грязную большую книгу:

— Распишитесь... фамилию-с!

Барин расчеркнулся: Гейнрих Бутерброт... и, уже уходя, бросил к вящему ножикову недоумению:

— Пришлите самовар и таз!

Войдя в свой номер, он неторопливо распаковал детеныша, налил из самовара в таз кипятку, вкось посмотрел на сжавшегося в углу Бурыгу и сказал хмуро:

— Мыла-то вот и нет у меня... Ну, да ничего, я тебя и щеткой обработаю!

У Бурыги при тех словах шерсть шишом встала. Но барин, не теряя времени, сунул его в кипяток и стал тереть головной щеткой.

Щетка восторженно заходила по Бурыгину телу, неожиданно прыгала с детенышевой ноги прямо на шею и там оставляла свирепый след. Потекло с Бурыги родное, зеленое, а барин отдувался, скоблил разными острыми предметами Бурыгины копытца, сопел сильно, утешая изредка:

— Ничево, чертище, потерпи; на человека зато похож будешь!

А этого-то детенышу и не хотелось — чтоб на человека-то! Уж он рассердиться даже хотел, но тут кончил Бутерброт, снял простыню с кровати, вытер истово Бурыгу насухо. Слиплась тут шерстка на детеныше, согнулись зябко коленки, хвостик понуро повис. Оставил его барин, за котлеты принялся, ел их, широко открывая беззубую пасть — зубов у него было всего четыре, и то спереди только, для видимости. Бурыге же снова хлебца дал.

Вечером барин Гейнрих Бутерброт спрыснул Бурыгу одеколоном, запер в чемодан и повез в цирк. А Кутафьину кофту ножик у отдал:

— Старьевщику продадите — можете себе взять... В наши, — говорит, — дни и рупь деньги!

IX

Вот беда-то: Бурыга-то человеком стал. Уж его портрет на бумагу пропечатали, и сам он уж в сюртуке ходит, а волосы бобриком стрижет.

Вот беда-то: серыми мутными утрами, когда зашевелится в бесьем сердце лесная тоска, ворует он рюмками у Бутерброта коньяк.

А Бутерброт разбогател: себе в пасть золотые зубы вставил, а мог бы и брильянтовые, да отсоветовал один там: не практично, говорит. Купил машину самоезжую и парня в шубе к ней, купил шляпу ведром: разбогател Бутерброт, собирая двугривенные за Бурыгин позор...

Конечно, позор! По утрам вертел его барин так и сяк, пока у детеныша зеленый пот не проступал, а вечером Бурыга сам уже привычно лез в чемодан и защелкивался изнутри ключком.

...В цирке сам Борис Исакыч Меер выводил Бурыгу вместе с рыжим клоуном Осипом Иванычем на арену: там ждал их уже рослый малый с лицом истязателя. Он ловко и равнодушно швырял Бурыгу под потолок, на трапецию, а Осипу Иванычу одновременно совал в нос щепотку белого порошка, от которого плохо видели глаза и страшно чесалось в носу. Бурыга кривлялся там, наверху, а Осип Иваныч ходил, припрыгивая, по арене и мучительно чихал под оглушительные аплодисменты публики.

Бросали иногда Бурыге конфеты и яблоки, — их тотчас же за кулисами съедал Бутерброт, а однажды какой-то жизнерадостный мальчуган швырнул Бурыге апельсин и попал ему в нос. Бурыга и на это сказал хриповатое, увесистое «мерси», а ночью поплакал от обиды.

И вот приключилось другое «однажды». Цирковый подбрасыватель был пьян и не сумел дошвырнуть Бурыгу до трапеции. Детеныш лепешкой ударился об песок, и его на руках унес за кулисы Осип Иваныч под безудержный хохот весельчаков.

Когда нес клоун Бурыгу, — Бурыге было очень больно везде, — они глядели друг другу в глаза: на них в свете ярких ламп глядели тысячи зорких глаз, и никто не заметил ничего; их слушали тысячи длинных ушей, и никто не услышал ни слова из того, что говорили эти двое смехотворов друг другу. А они говорили вот что:

— Я тебя очень люблю, Бурыга...

— И я тебя тоже люблю, Осип Иваныч... Совсем ты на человека не похож. За то и люблю!

...Сломаться в Бурыге было нечему: костей в проклятиках не бывает, но Бурыга наутро не встал. Барин Гейнрих Бутерброт рвал себе волосы на висках, — на других местах не рос у него волос; барин Гейнрих Бутерброт хотел с горя в запой удариться... Но тут подошло ему избавление.

Х

Заехала совсем случайно в тот самый городишко одна испанская купчиха. Муж-то ее еще год назад выиграл на билет двести тысяч и помер от радости, а купчих поставила на мужа памятник, стала жить да поживать, стала деньги проживать, кататься в полное свое удовольствие по белу свету. Везде побывала баба, все вавилоны объездила.

Давно уж она сердцем беспричинно тосковала, а как увидела Бурыгу, детеныша-нос-хоботом, так и вострепетала вся. Ворвалась к Бутерброту через неделю после Бурыгина падения, с ножом к горлу пристала, — так ей захотелось Бурыгу себе заладить:

— Продай ты мне, купец, детеныша... Возьми сколь душе твоей угодно, а доставь мне такое полное удовольствие...

Бутерброт заломался сперва:

— Помилте-с, — сказал, — он мне, можно сказать, как сын: в одной кровати, можно сказать, спим... из одной тарелки кушаем!

На дыбы взвилась купчиха:

— Ах, нет, нет! Уважь ты меня, господин!.. Я его наукам обучу, человеком в свет выпущу, доброе дело сделаю за мужнин упокой!

Бутерброт модру скривил: в душе-то он и сам был не прочь от детеныша избавиться, — хлопот больно много с ним: то ученые приезжают, мерку с Бурыгиной головы снимают, в телескоп на него глядят, то газетчики оравой наедут, пристанут с расспросами: «А может ли он по-французски разговаривать, а может ли он гвозди есть»... — страх!

Стукнул зубами Бутерброт:

— Мильон...

А потом чавкнул золотыми зубами и прибавил поспешно, испугавшись, что купчиха так уедет:

— А с вас только пять тыщ возьму... Извольте задаточек, — упакую-с и пришлю-с.

Купчиха ему все деньги сразу выложила.

— Твой, — говорит, — товар, мои деньги: получай за наличный расчет!

Рассовал барин бумажки по карманам, надел шляпу ведром, поехал деньги пропивать.

А Бурыга уж у купчихи выздоровел.

XI

Не все же по заграницам шататься, пора и домой: поехала купчиха в Испанию. Тут разные она неприятности вынесла: у Бурыги паспорта своего не было, а за сына своего родного принимать его не хотелось купчихе, — засмеют земляки. Пришлось за Бурыгу заплатить дорогую пошлину, как за продукт иностранного производства.

...Ехал детеныш в теплом ящике, закутанный в одеяло, которое купчиха стянула при отъезде из гостиницы, по испанскому обычаю.

Ехали-ехали — и приехали.

Дома у купчихи стал детеныш-Бурыга третьим: первой была купчихина комнатная моська Аннет, с человеческими глазами — она за задних лапах могла ходить, а вторым попугай Зосима, которого покойный купец в свободное время обучил ругаться неприличными словами. Бурыга же третьим стал.

...Кормили у купчихи плохо: утрами к зеленой бархатной подушке, где выздоравливал Бурыга, приносила горничная крохотную чашечку кофию и просвирку за упокой купчихина мужа; Бурыга съедал это немедленно и немедленно же принимался за поиски съестного в купчихином доме: крал бобы у попугая Зосимы, выпивал масло из лампадок — у купчихи их до сотни висело, жевал купчихины валенки под диваном, а однажды стащил втихомолку с кухни три с половиною фунта ядрового мыла. Бурыге все на подхвате давай сюда. Бурыга все ел, и все ему было мало.

Но как только он насыщался, тут и начинались его смертные муки: выходила купчиха обучать его разным наукам — арифметике, географии, закону божью и другим божественным вещам, от которых тоскливо корбила кожа на лбу и уныло морщилась бесья душа.

И думал тогда Бурыга:

«Куда уж Рогуля божественное любил, а и то сбежал бы! Ей, сбежал бы!»

ХП

В яркий день на зимнего Николу — в Испании и по воскресеньям мороз щиплет! — вышла купчиха на урок в розовом капоте. Волосья у ней на голове, смирившись под деревянным маслом, дорожками пролегли, а на затылке были так туго заверчены, что вот-вот масло с них закаплет.

В тот день вселилась радость в купчиху: обещал к ней главный испанский архиерей приехать. Третьевось у обедни насчет детеныша ее расспрашивал и так высказался: «Наслышан я об вашем, с позволения сказать, детеныше... Непременно нужно его, знаете ли, в испанскую религию привести, а потом в лес пустить: пушай он и там нашу веру разводит». А купчиха-то и возрадовалась, и взыграло в ней сердце!

Вот вышла она к детенышу, села на стул, стала молитвы спрашивать. Прочел ей Бурьга испанскую «богородицу», рассказал ей про испанского чудотворца, что по морям пешком ходил, — отчетливо рассказал; и не удержалась купчиха и погладила его по шерстке, по головке. Погладила, да и нащупала бесьи рожки... Посинели тогда купчихины щеки, выскочили волосья из деревянного масла, а из глотки такой полоумный визг выкатился, что стало вдруг детенышу не по себе. Посмотрел он исподлобья на купчиху, и не стерпело окаяшкино сердце, — расшеперился проклятик, ударил и раз и два купчиху по морде, хотел перестать, да уж размахался очень: и по третьему разу ударил.

Завизжала купчиха, как намазаная дверь, затыкала шавка эта ее несчастная, зубами в Бурьгину ногу вцепилась... суета поднялась... И, пока поили нашатырным спиртом обезумевшую купчиху, удрал Бурьга в одной рубашонке, как был, из купчихина дома...

Верст десять с воем бежал, копытца в снегу вязли, нос туда-сюда мотался, да, наконец, силы не стало: повалился в сугроб у реки замертво. Тут его и нашла графская кухарка.

...А купчиха в тот же день два водосвятных, один за другим, молебствия отслужила — по случаю избавления от беса....

Вот беда-то! Хи-хи...

ХІІІ

Готовился граф к именинам. Неизвестно, когда его свят-ангел — не знаю: не заглядывал я в испанские святцы: знаю одно — зимой.

За неделю стал граф к тому празднику готовиться: пирог испекли в сажень, колбасы корзину целую купили; сам граф, рукава засучив, яблоки рубил, наливки на разных травах настаивал.

А Бурьге к тому времени пиджачок сшили со светлыми пуговицами, паричок заказали этакий, а ноги чулочками облекли: стал Бурьга — как офицер, только смешного калибру.

Вот настал именинный день. Приехал графов дядя, безволосый старикан под названием Иван Сергееч; приехал испанский архирей с эполетами; приехала испанская купчиха — соседка графова; приехала глухая барыня и племя с собой привезла: две дочки, как бочки, а третья сухая черная загогулинка в кисейном платье. И другие еще наехали.

...И пошло среди них веселие отчаянное: развалились гости на диванах, пьют наливки, колбасой закусывают; лимоны, как репу, жрут. Сам граф впрысядку поперек квартиры ходит, коньяк бутылками гостям раздает, в голове у него радость пухнет.

— Пейте — говорит, — пейте, пожалуйста. Упивайтесь вином! А я вам тем временем сурприз подготовлю!..

...Хранил тайну в сердце своем граф, хотел гостей подивить, показать им напоследях детеныша-нос-хоботом. А как подошло то время, — гости песни орут, архирей шатуном меж столами бродит, — снарядил граф Бурьгу подносом, на поднос бутылок наставил, выпустил его через дверь на середину. Трется нос о поднос, идет Бурьга.

И вышел он посередь, да как завидел купчиху — грохнулся поднос о пол, — на полу винное море, по нему стеклянные острова пущены.

Купчиха-то и не разобрала спросонья, с чего грохот пошел, — на голову она слаба была, — а граф рассвирепел: вытащил Бурьгу за дверь и там ему потасовку смертную дал и ногой пристукнул.

С этого Бурьге болезнь пристала.

XIV

Лежит на кухне под кроватью, половиком накрыт, детеныш-нос-хоботом; лежит — сопит, в нутре искры шипят, в голове смолу варят, из ног нитки тянут: граф ему главную жилу перешиб. Дает ему кухарка огуречный рассол пить, да ведь только рассол против отбития да перешибу не помогает...

Лежит Бурьга, и идет от него по кухне тяжелый дух... Скучно ему так лежать. Нет-нет да и выползет на середину, на солнышко... Тут и быть беде: вошел граф на кухню неслышно, — у него к ногам резина приделана, — вошел и увидел Бурьгу.

Зашипел испанский граф, ребрами так и стукнул, — глазом завертел, руками машет — стал кухарке так приказывать:

— Выкинь его за ворота, там его подберут... Или нет, ты его лучше завтра утром соседу в колодец брось! Вот... — У графа с соседом-то нелады были.

Накричал и вышел и дверью шибанул.

Заплакала было кухарка, но снизошло и на нее тут просветление: снесла кухарка Бурьгу в конуру к Шарикку; графского распоряжения послушаться не могла баба никак при всем желании.

Шарик же — пес сторожевой, старый пес, усы у него седые. Шарик кухарке — первый друг. К нему и поселили Бурьгу.

И подружился детеныш с Шариком, и делились они костями, и спали вместе, как родные...

Тогда зима еще не кончилась.

XV

Раз — в Испании февраль зверем лют! — одна ночь свежа была. Спали весь день два лохматых в собачьей конуре, друг дружку грели, — ночью на двор выползли.

Луна в небе, звезды к краям ползут, — ночь глубокая. Посидели так двое мохнатых на снегу, на луну повыли в голос, а потом домой вернулись, легли, укрылись старым лоскутом, — кухарке доброе здоровье.

Вздыхнул Бурьга, стал Шарикку свое странствие рассказывать:

— ...Жили мы в лесу... Там жили, откуда сюда солнце приходит. Я жил, да еще Волосатик жил, а с нами еще один — Рогуля... И жил в том бору один старец строгий, Сергей, — он бога славил и всю земную тварь любил...

...Раз в зиму одну — там зимы не такие: там утром примерзнет солнце к самому краю земли и встать не может, темь весь день! — раз в ту зиму, — некуда нам деваться, теплин ни одной не было, — мы и залезли к старцу в трубу печную, — там и жили... Знал это старец и молчал и оставлял иногда нам, как бы случаем, на шестке то хлеба корочку, то щец в плошке, а мы и сыты...

...Да вот пришла Волосатику пустая блажь — старичку тому табачку нюхательного подсыпать. Посмеяться и мы были не прочь... А старец, надо сказать, строг был: блоху жалел, а себя еженощно терзал по-разному.

...Ему-то — откудава достал, не знаю — и насыпал Волосатик табачку в ряску... Засели мы в трубе, ждем. А Волосатик мне хвостом ноздри щекочет; смех меня разрывает.

...Тут мы слышим вдруг чихание и гневный клич:

«Ты, — говорит, — Волосатик, сгоришь золотым цветом на Иванов день...

«Тебя, — говорит, — Рогуля, зашибет дед на Ерофея до-смерти...

«А ты, — это мне-то он говорит, — Бурьга с перешибу от поганой руки будешь в чужой земле сдыхать, — не сдохнешь, но завоняешь»...

...Вот как это вышло. Нету теперь моих приятелей... один я, да ты у меня.

Завздыхал Шарик: душа в нем не по-людскому отзывчивая. Думает Шарик свои думы, Бурьга свои... Тепло в конуре — шерсти много.

...А за конурой идет бледная луна, остановилась синяя ночь, звезды по небу, — повить охота!..

XVI

Март с неделю в Испанию приехал, и была такая же ночь.

Лежал-лежал детеныш да повернулся к Шарик, сказал Шарик — и как сказал, так в самом дух и замер:

— Шарик, а Шарик...

— Ну, чево тебе?..

А Бурьга замолчал. Потом опять:

— Шарик...

— Ну?

— Я, Шарик, домой хочу итти... туда.

У Шарика под сердце подкатило:

— Зачем тебе туда?..

— Не то у вас тут... У нас по-другому... Тебе, Шарик, не понять... Я туда пешком пойду.

Опять замолчали.

...В небе синяя ладья. В ладье той плывут неведомые сны, по земле цветут синие снежные цветы... Кто Хороший посеял вас?

...Опять Шарик сказал:

— Ну, што ж... валяй... оно, конечно.

И спиной повернулся к Бурьге. Потому и повернулся, что не хотел, чтоб видел кто-нибудь собачьи слезы. Уши у Шарика вздрагивали...

Бурьга спросил:

— Ты чево это так, Шарик?

Проскулил Шарик грубо:

— Так это у меня... от старости.

В эту ночь они в последний раз на луну вместе повыли: больше лун не было, — крались исподтишка по небу сырые низкие тучи, караулили весеннее солнце.

И однажды собрался.

Март на исходе, — у Бурьги в тряпку кости завернуты, хлебца кус там же, на самом кофта ватная старая — кухаркин подарок. Добро вам, три добрые!

Постояла кухарка на крыльце, поглядела на окаяшку, прошептала жалостливо, как молитву:

— Ну, ступай!.. Замерзла я тут с вами... Да смотри, под машину не попади! Эк, нескладный какой!..

И ушла.

Подсел Бурыга к Шарик, лизнул его тот в нос-хоботом и опять спиной повернулся: собачьи глаза, слез не держат!

Вышел Бурыга за калитку.

И опять в небе ночь была. Она шептала молитвенно вниз:

— Ступай, Бурыга, ступай... Я тебя, где нужно, в тьму закутаю, где нужно — на крыльях пронесу, — ступай.

...В ту ночь до утра выл Шарик на дворе. В одиночку выл, вытянув в небо круглую свою глупую волосатую морду... И выл и выл, не давал графу спать, не давал тишине землю сном окутать...

Понятно: собачья тоска — не фунт изюму!

Так дед Егор из Старого Ликеева рассказывал.

Январь 1922 г.

I

Viveva in Spagna un conte spagnolo. E aveva due figli: Rudol'f e Vanja. Rudol'f aveva dieci anni, mentre Vanja era ancora più piccolo.

Ancora in mezza età il conte aveva perso tutto il suo patrimonio per una commediante in tournée, e verso la vecchiaia gli erano rimaste solamente la giacca e la vecchia casa, che era addirittura impossibile ristrutturare. Allora anche la moglie del conte morì di dispiacere.

...Ora il conte viveva al piano inferiore, dove erano perlomeno ancora rimasti i mobili, mentre nelle sale principali al piano di sopra non si poteva proprio vivere: il tetto aveva delle infiltrazioni, d'inverno non c'era modo di riscaldarsi – lì si trovavano i ritratti dei nonni del conte, e a loro tutto questo era indifferente. Il conte stesso era il capo all'ufficio postale, ai suoi figli veniva insegnato a leggere e scrivere in spagnolo, la cuoca preparava la zuppa: vivevano così.

E un giorno di un gelido dicembre accadde loro un imprevisto: la loro cuoca andò al fiume a lavare la biancheria, e trovò un cucciolo con il naso a forma di proboscide. Si recò al fiume, guardò e vide questo pelosetto, seduto su un cumulo: probabilmente stava morendo assiderato. Da sotto la camicina sporgevano degli zoccoli, mentre il naso era lunghissimo, un naso non umano, che sfregava con le manine.

La cuoca era una donna compassionevole, alzò di scatto le mani, scrollò la testa:

- Ma tu guarda! Morirai di freddo!..

E quello la guardò tenendo la testa abbassata e con una voce basso le disse:

- E con questo?!

La donna si agitò, afferrò il cucciolo tra le braccia, lo cacciò sotto il bucato, si avviò verso casa come un fulmine...

E per strada il cucciolo strombazzava dalla biancheria:

- Non serve a niente tutto questo! Sono solo sciocchezze! Lo fai inutilmente, donna...

II

...Lo portò a casa, gli tagliò circa una libbra di pane, lo coprì col pellicciotto, si mise di fronte a lui e disse meravigliata:

- Da dove vieni tu, bimbo? Sembri un po' una scimmia e un po' un bambino...

Il piccolo brontolò:

- Noi non siamo del posto!

...E da solo si fiondò sul tozzo di pane, lo divorò, e solamente la codina sobbalzò da sotto il pellicciotto. Aveva una codina così così, come un ciondolo, e dei cornetti come piccole caramelle.

...In quel momento entrò in cucina proprio il conte spagnolo per posare il samovar, vide il cucciolo e prima fece addirittura un salto, poi si mise ad assalire minacciosamente la cuoca:

- E questo che sarebbe? Dove hai scovato questa meraviglia? Perché è qua?

...La cuoca iniziò a raccontare:

- Quando sono andata al fiume l'ho visto seduto sulla neve, con le gambe allungate, che stava morendo assiderato...

...Il conte fece mmm, si avvicinò alla cuoca:

- Mm sì.. In effetti il naso ce l'ha.

...Prima si fece pensoso, e poi prese il cucciolo per il naso e lo tirò verso giù.

Il cucciolo cominciò a rivoltarsi, si rizzò tutto, brontolò direttamente al conte:

- Sei uno sciocco, ragazzo!

Per quelle parole il conte gli diede un ceffone, ma poi lo accarezzò affettuosamente, chiedendogli:

- Ah, così stanno le cose! Sai addirittura parlare... E come ti chiami?..

Con fare serio disse cantilenando:

- Bury-yga!

E quando il cucciolo disse questa parola, il conte emise un nitrito, scoppiò in una risata fragorosa, come cavernicola, tanto che traballarono le stoviglie sulle mensole, il canarino assonnato cadde giù dal posatoio e la serranda vicino alla stufa rotolò giù. E da dove gli veniva una tale gola?

Era brutto da vedere: dalla giacca gli si intravedevano le costole. Rideva e rideva, e improvvisamente s'incupì, temendo di perdere il rispetto della cuoca, indicò Buryga alla donna, alzò la voce e ordinò severamente:

- Puliscilo col sapone al fenolo e naftalina dopo averlo lavato. Faremo di lui un servitore!..
Ecco!

E il conte se ne andò a dormire, dimenticandosi del samovar.

...Buryga mangiò per tutta la sera, una rarità per la cuoca, mentre Rudol'f e Vanja discussero tutta la sera se fosse un vero cucciolo o se si fingesse tale... E già verso notte, quando tutti dormivano e Buryga, disteso, stava finendo di mangiare la quarta libbra, i ragazzi del conte fecero scivolare al cucciolo un sigaro, rubato al padre. Buryga prese il sigaro, se lo mangiò in silenzio, schioccò le labbra e disse:

- Vabbè, adesso si sta bene! Venite, se non dormo, vi racconterò qualcosa di diverso...

E allora scrollò la testa, ispirò aria con il naso, come una pompa, e mandò uno starnuto acuto. Vanja sobbalzò e uscì dalla cucina come una freccia, e l'altro lo seguì. E Buryga starnutì dietro a loro ancora una volta, sbadigliò e si mise a dormire.

In cucina c'era odore di zuppa di cavoli, di scarafaggi e di fenolo.

E ormai tra il sonno e la veglia Buryga fantasticava così:

“Ah, come vorrei dei mirtilli!..”

III

...Buryga stava bene nella distesa verde del bosco. Lì, al mattino, il sole si leva carezzevole: non brucia la testa, lui lassù, il nostro amico, non ti fa sentire come se ti avesse cacciato in gola un gomitolino di lana ardente. Lì, al mattino, un uccellino di molte voci intona in tutti i modi angelici e allegri sticheron, lì bestie sconosciute e strane del bosco si mettono a correre verso il laghetto palustre... Lì, al mattino presto, il bosco intona una canzone, e sopra di lui camminano, camminano, camminano delle nuvole scarlatte, diventano profonde, si scontrano: ora nuota il disgelo celeste, ora nuotano le gioie terrestri.

Il cucciolo Buryga esce dalla sua tana: d'estate vive in questo piccolo buco; assonnato sbatte contro i ceppi di legno; lui, verde, cammina quatto quatto in un arbusto verde, arranca un po' nelle

paludi gelatinose, salta svelto tra i ceppi morti, scende rotoloni, corre come distese di convolvoli... Ecco che si siede su una piccola radura, ridacchia e fa le smorfie, fa dei saltelli da seduto, si scalda la schiena, asciuga la lanugine sotto il solicello, e il solicello lo accarezza con la zampa tiepida, strizza e socchiude gli occhi, canticchia una canzonetta semplice, mostra la lingua agli ovoli malefici... E questi si sono abbigliati come per una messa, si sono messi in fila grassi e magri... Sono in sei, e per questo sono allegri.

...Ed ecco la sera. Il sole si è nascosto, in cielo striscia una caramella succhiata, la luna. Ed è già l'inizio di un'allegra baldoria notturna.

Buryga cammina verso il vecchio ceppo ramoso, lì vivono i suoi amici e conoscenti Volosatik e Rogulja. Volosatik è sia rotondetto sia pelosetto, come le nipotine del folletto dei boschi, il tremolo marcio è la sua mamma, mentre Rogulja è a strisce, grigio e verde, secco e magro come un *aršin*, con le gambe storte. Ha sempre amato le questioni di tipo divino: da dove venisse il mondo, chi fosse più importante per il folletto del bosco, perché l'acqua fosse bagnata...

Volosatik amava tanto fare follie, sghignazzare. Buryga invece amava i mirtilli...

...Quando una nebbia umida arriverà a coprire i laghetti, i gomitolini di zanzara inizieranno lamentosamente a risuonare, - cadranno sugli alberi, come ghiande, usciranno striscioni da sotto la terra, salteranno fuori dai ceppi, sgusceranno fuori dal cespuglio gli spiriti della palude e diversi spiriti maligni, folletti del bosco...

...Ecco che camminano quatti quatti per terra i gambe-lunghe e i gambe-corte, i belli e i brutti, gli abili e la feccia. Già si stravaccheranno sui ceppi, sui rizomi sporgenti, ricoprirà i praticelli un popolo dissoluto, spudorato, impuro, - chiacchiera a modo proprio una miriade di boschi, organizzano diversi giochi come riescono, e alcuni – una vergogna dirlo! – sono abituati a suonare la balalaica fatta con mezzi rudimentali...

...Allora comincerà a brontolare una sciocca pistola scacciacani, uno scoiattolo comincerà a muoversi in un arbusto; una lepre spiccherà il volo, impaurita dagli arbusti della notte; un pipistrello si sposterà lateralmente – divertimento diavolesco... E in cielo si è di nuovo alzata la luna: non più come una caramella, ma come un'insolita piuma di un uccello del paradiso. Allora con misteriosa dolcezza un usignolo inizierà a cantare lassù, e all'improvviso il cauto scricchiolio oltre la palude verrà sostituito da un grido mortale disperato: allora lo spirito maligno dagli occhi verdi si è messo in sella a una lepre infelice. Un rombo e un rumore sordo si aggirano con baldanza per la pineta...

Ma appena sarà volata la mezzanotte sul cielo, allora immediatamente ognuno si nasconderà da qualche parte: la zanzara nella polvere della palude, gli spiriti maligni se ne andranno o sottoterra, o in acqua, o sotto le piccole ninfee gialle, e c'è chi si attaccherà con gli artigli gialli al ramo e rimarrà appeso così fino alla sera successiva come un nido di vespe.

...Buryga dorme già. Ha ficcato il naso a forma di proboscide nel fogliame marcio dell'anno precedente, scuote le gambette nel sonno, e dal naso gli esce un fischio e del vapore: non un moscerino senza tetto o un calabrone vagante e capriccioso si decideranno di accomodarsi per la notte sul naso di Buryga...

...Si aggira per il bosco il verde ronfare. Dondolano assonnati i rosmarini di palude e i ranuncoli. E gli ovoli malefici guardano minacciosamente da sotto i cappelli rossi: sono in sei, nessuno li vede, e sono offesi, e per questo non riescono a dormire...

IV

In autunno il vento appendeva in cielo i vestiti bagnati, li strizzava con insistenza, e da questi cadeva sulla terra una noiosa pioggia sporca.

...Da tempo ormai sulla pineta le bacche di sorbe hanno perso il loro colore rosso, è finito il fruscio dei tremoli dalle foglie rosse, è un segno: è ora di dormire per le creature del bosco.

...Rogulja è penetrato per l'inverno nella palude stessa, nelle viscere verdi, nel caldo sporco – dove il gelo non arriva a palpare: stava là, riflettendo per tutto l'inverno sui misteri della natura di Dio. Volosatik ha trovato un angolino nella tana dell'orso familiare, mentre Buryga continuava a vagare per il bosco, aspettava che magari il solicello non arrivasse di striscio... Ma il solicello non uscì, e al suo posto si arrampicavano per il cielo delle nuvole bagnate.

...Buryga provava a costruirsi dal nido di cornacchie un berretto impermeabile, ma da questo uscì solo un dispiacere: la pioggia scendeva fittamente, e in quel nido di cornacchie vivevano le formiche dalla testa nera... Vagava per il bosco.

...E ora non si può vagare per il bosco: nel giorno di Erofej,¹³⁷ per il matrimonio dei lupi, si crede che gli spiriti maligni spariscano: in quel tempo il vecchio cammina per la pineta con un

¹³⁷ Il giorno di Erofej corrisponde al 4/17 ottobre, data in cui si celebra la memoria del martire Ierofej. Secondo la tradizione russa, in questo giorno vagano per i boschi gli spiriti maligni, allo scopo di spaventare gli esseri umani urlando, battendo le mani e ridendo sgangheratamente. Da <https://www.calend.ru/narod/6758/>, consultato l'ultima volta il 09/05/2019.

bastone, ed è una vera noia, e lui stesso è tutto arruffato. Se gli capiti sottomano, ti spezzerà la schiena, oppure ti spaventerà a morte.

E Buryga camminava, piagnucolava, chiedeva a una cornacchia smarrita se lì per caso ci fosse il solicello; la cornacchia gracchiava, ma Buryga non conosceva la lingua delle cornacchie... E se anche l'avesse saputa, non sarebbe stato più semplice!

E già quando aveva perso del tutto la fiducia in sé, entrò in una cavità libera e si rigirò lì dentro per tutto l'inverno senza dormire: lo tormentava l'angoscia, e poi il freddo nella pineta non conosce legge!

V

In primavera si stava bene nel bosco. La primavera dispiega sulla neve nastri scarlatti. Il bosco è lieto del sole, la terra dei luoghi disgelati, l'anima della primavera...

Quella volta non arrivò a vedere la primavera la compagnia diabolica, arrivò una disgrazia. Una mattina le asce iniziarono a risuonare forte, e colpirono allegramente con le mani grigio-azzurre, andarono a passeggiare e baciare: dove baciavano, lì c'era la morte... E ancora quella stessa mattina iniziarono a stridere le seghe coi denti brutali, straziarono violentemente, risuonarono forti: non riuscirai a far smuovere con le tue lacrime imploranti il loro crudele canto. Sul bosco si è innalzato un lamento di ferro.

Gli spiriti maligni si sono allarmati, ma non c'è più nulla da fare: in inverno non troverai un'altra dimora, non potrai ribellarti contro il ferro; ti rassegherai a mettere la gola sotto i denti azzurri, in silenzio.

Buryga balzò fuori dalla sua cava come una foglia verde, sgusciò nel nocciolo – nessuno lo vide; iniziò a correre verso la tana del nonno.

- Nonno, ah, nonno... Lì fuori abbattono gli alberi, sono arrivate le asce...

Il nonno cominciò a battere le palpebre con le ciglia senza peli:

- Le asce? Beh, che facciano! Non è niente, caro. La pagheranno, gli faccio vedere io...

- E cosa c'è da far vedere... Stanno andando avanti, domani saranno qui!

- Domani, dici?.. Non è niente, caro! E io li spavento stanotte...

Buryga brontolò rassicurato:

- Nonno, allora io resto qui da te, eh?..

- Resta, caro, resta.

La notte il nonno andò a spaventare i tagliaboschi: si mise a ridere in modo spaventoso, emise dei suoni striduli e sordi, batté per terra con un ceppo di tremolo marcio per fare un gran fracasso, attraversò a carponi il bosco. Lanciò uno sguardo dal nocciolo – tutto aveva cominciato a palpitare: lì la morbida erba di bosco veniva calpestata dagli stivali dei tagliaboschi, li bruciavano i tigli allegri, sonnacchiavano vicino a loro le asce stanche, mentre i ragazzi preparavano la zuppa: erano seduti sulle betulle abbattute, sopra delle camicie di tela rossa e cantavano. E la loro canzone, mescolata al fumo, si spandeva per terra. L'amata betulla dello spirito del bosco giaceva a terra, come una bandiera di Cristo verde del bosco.

Il nonno rimase in piedi, strizzò gli occhi, capì che bisognava andare via: i giovani avvano le spalle larghe, uno di loro in un colpo poteva abbattere un pino. Il nonno si incamminò lentamente indietro, ma vide il cucciolo – gli disse con voce lamentosa:

- Corri, caro, dove sai, questo non è più un posto per noi, corri-i!

Buryga brontolò, e proprio quella notte le loro strade si separarono: il nonno andò dal suo nipote – quello faceva il folletto nel bosco vicino... Aveva nella bisaccia un sembiante spaventoso – per qualsiasi evenienza il passaporto a nome di un certo Mokej Stepanov, con le firme e i timbri dello Stato – inattaccabile, in realtà l'identità era quella di un armeno.

E Buryga continuava a vagare, e arrivò in campagna. Quella campagna, la Pineta di Vlas, non era grande, ma ci vivevano persone buone.

VI

C'era una volta nella campagna una vecchia levatrice, la gente la chiamava Kutaf'ja. Di lei si dicevano diverse cose: che potesse arrecare il male; stregare una ragazza – e le ossa le sarebbero uscite dalla pelle, come una piuma dal materasso; se era in dissapore con qualcuno, causare un'ernia e una stretta alla gola – non ci sarebbe più stata una persona, ma un osceno tappo senza gambe. Solo che tutto questo era falso: Kutaf'ja era una buona vecchietta: a casa sua, nell'angolo bello era appesa un'icona del rovetto ardente, davanti alla quale era sempre puntata una lampada; a casa sua, nell'angolo bello c'era anche il portatore della passione, che aiuta contro tante malattie, e la boccetta con l'acqua del Giordano, portata dalla Terra santa.

Da lei era andato anche Buryga, attraverso il percorso tracciato sulla neve: entrò nel ripostiglio, si acciambellò come un gatto, stava seduto e guaiva. E Kutaf'ja doveva, per sfortuna, andare lì per fare altre cose. La vecchietta entrò e si gelò – come quando l'acqua fredda corre sulla schiena: c'era seduto un pelosetto, non si capiva bene che fosse, guaiva ma era come se stesse scaldando il manico di un'accetta... La vecchia gli disse:

- Tu che sei, un diavolo? Perché vai nei ripostigli altrui? Ma che fai! Non ti sarà mica saltato in testa di derubare me, una vecchietta?

Buryga replicò battendo i denti:

- Io – disse – son venuto qui a morire, vecchietta.

La vecchia vide che non era un ladro, e quindi era una bestia buona.

- Ma tu chi sei, che fai?

- Io? Ma niente! Noi veniamo da lì, dal bosco. Siamo del bosco...

La vecchietta venne colta dallo stupore:

- E va bene. Non parlerò mai con te, andiamo nell'izba, lì giungeremo ad un accordo!

E per davvero giunsero ad un accordo. La vecchia lo lavò in bagno, per non insozzare l'izba, gli diede gli stivali in feltro del marito defunto, gli diede il berretto del marito simile a un piccolo serbatoio d'acqua. Buryga iniziò a vivere dalla vecchia, a dormire su un giaciglio; Buryga diventò come un ometto di campagna.

Se Kutaf'ja si ammalava - il cucciolo sarebbe andato in inverno anche alla ricerca di legna in orto, e avrebbe portato l'acqua, e rubato una gallinella del vicino per la vecchietta malata... E alla gente non sarebbe nemmeno venuto in mente di chiedere: "Che razza di ragazzo è comparso a casa tua, Kutaf'ja?"... Tutti pensavano che fosse un nipotino col malocchio.

Buryga si era ambientato nella Pineta di Vlas, a volte andava anche a qualche festa. Arrivava, si metteva in un angolo, separato dai ragazzi, teneva la testa abbassata; le ragazze lo ritenevano strambo, lo prendevano tutti in giro: prendere in giro uno strambo non è peccato, è la salvezza dell'anima. E una ragazza, Lenka, era proprio una canzonatrice:

- Sposami, – diceva ridendo – Buryga... Ohi, ti metterò a fare un bagno bollente, ti metterò a dormire con me, e inizierò ad amarti...

Buryga brontolava tra sé e sé, osservava Lenka dalla testa ai piedi – Lenka aveva i fianchi larghi, i ragazzi digrignavano i denti, - e strombazzò cupamente:

- Tu dici bugie... Non mi amerai, per nessun motivo...

Ma Lenka lo prendeva in giro ancor di più, guardando direttamente Buryga negli occhi:

- E non m'immagino come sarebbe sposarti... Già è molto difficile baciarti... Tu col tuo nasone mi caverai tutti e due gli occhi!..

E lui sbuffò col naso.

VII

Ed ecco cosa accadde dopo.

A carnevale, giunse dalla città nella campagna della Pineta di Vlas un nobile coi pantaloni in bella vista, che portava l'orologio e le scarpe, con un bastone in mano, grasso. Veniva per affari: commerciare in legname con Semën Girin, mentre Buryga, per sfortuna, andava in quel momento a prendere l'acqua. Il nobiluomo lo vide, gli balenò qualcosa nella zucca, iniziò a correre verso l'izba di Kutaf'ja, si appiccicò alla vecchietta come la colla; decise di persuadere la vecchia, e le avvicinò il suo viso, che emanava un forte odore di vino:

- Che è, un tuo nipotino?

- Un nipotino, caro, un nipotino...

- Menti, vecchia – questo esemplare non è umano... Vendimi, vecchia, il cucciolo! Io sono una brava persona, e non gli succederà nulla di male. Gli darò da mangiare salame, gli insegnerò ad andare in bicicletta, lo mostrerò alla gente per venti copechi... Vendimelo, vecchia, te lo compro per mille scudi!

La vecchia camminava avanti e indietro; e le dispiaceva, e poi non le dispiaceva più: comunque verso l'estate sarebbe fuggito; ma il nobile era importante, e un migliaio di scudi non era roba da niente. E poi bisognava ammetterlo: da molto la vecchia voleva avere un bel vestito per le feste, marrone, di una stoffa frusciante.

- Allora, disse, - prendilo, non sei un mascalzone, gli darai da mangiare e da bere... Solo che son davvero pochi, figliolo, mille, abbi pietà di una vecchietta, aggiungi tre rubli...

Allora il nobile si mise a ridere fragorosamente. Balzò sul suo petto una catenina d'oro, e in un momento la pancia gli uscì dal gilet. Il nobile tirò fuori il portamonete, contò cento rubli in copechi, visto che la vecchia era analfabeta, e aggiunse altri tre rubli per bontà e cinquanta copechi per la sua malleabilità.

Kutaf'ja s'illuminò di gioia, aiutò il nobile a mettere Buryga dentro un sacco, e quello dapprima cominciò a dibattersi, azzannò le manopole del nobile, il nobile iniziò a sibilare:

- Diavolo, ti faccio vedere...

Diede al cucciolo una botta, e quello si calmò: non è che ci voglia molto per un diavoletto malnato!

Il nobile ficcò nel sacco un tozzo di pane secco, affinché il cucciolo non morisse di fame: cento tre rubli e cinquanta copechi non sono pochi soldi, buttò il sacco sulla slitta, ancora una volta emise una risata sgangherata come un cavallo e se andò. Non andò nemmeno dall'appaltatore: il nobile cominciò ad avere fretta per qualche motivo.

Per tanto tempo poi Kutaf'ja si rammaricò per non aver preso dal nobile qualche soldo in più per la giacca di Buryga.

VIII

Alla stazione il nobile spostò Buryga dal sacco in una valigia, gli diede un'altra fetta di pane, lo chiuse a chiave, salì sul vagone e si mise a dormire nella cuccetta superiore.

Per tutto il tragitto russò come un animale. Dormì, si svegliò, ficcò una mano nella valigia, tirò per il naso Buryga, che era immerso nel sonno, e schioccò con le dita sul naso, per piacere proprio, e gli diede una caramellina.

Nella valigia era afoso, ma c'era qualcos'altro: si era appoggiata direttamente nella pancia di Buryga una bocchetta sfaccettata col tappo in ferro come se volesse trafiggere Buryga da parte a parte. Ma il cucciolo gonfiò la pancia, e la bocchetta si spostò malvolentieri di lato. Allora si infuriò la spazzola, che era già al capezzale di Buryga, e con tutti i suoi denti sottili come lesine si conficcò nel collo di Buryga. Buryga rispondeva agli attacchi, come poteva, Buryga piangeva sommessamente e mangiucchiava la fetta di pane.

...Il nobile scese dalla carrozza vicino a una grande scatola di legno con un'insegna scrostata e guardò severamente il cocchiere. Quello strizzò gli occhi rossi con aria colpevole, grattò con il manico della frusta la schiena del cavallo con pudore e improvvisamente disse con baldanza:

- Venti copechi!..

Il nobile gli distese silenziosamente venticinque copechi falsi e attraversò solennemente il portone. La persona, seduta allo scrittoio, si piegò come un coltello e si immobilizzò con venerazione: il nobile buttò la valigia sul banco di vendita – la boccetta e le spazzole di colpo caddero sul cucciolo – e proferì con dignità:

- Per otto grivne...

L'uomo-coltello cominciò a sibilare, avvicinandogli un grande e sporco libro:

- Scriva... il cognome!

Il nobile firmò: Gejnrich Buterbrot... e già mentre se ne andava via, aggiunse mandando in stupore l'uomo-coltello:

- Mandi il samovar e un catino!

Entrato nella sua camera, spacchettò con calma il cucciolo, versò l'acqua bollente dal samovar nel catino, guardò di sbieco Buryga che si stava contorcendo in un angolo e disse cupamente:

- Ecco, non ho nemmeno il sapone... Ma sì, pazienza, ti sistemo con la spazzola!

A quelle parole a Buryga si rizzò il pelo. Ma il nobile, senza perdere tempo, lo ficcò nell'acqua bollente e si mise a sfregarlo con la spazzola per i capelli.

La spazzola si muoveva con entusiasmo sul corpo di Buryga, all'improvviso rimbalzò dal piede del cucciolo direttamente sul collo e vi lasciò un'impronta violenta. Buryga cominciò a perdere un liquido familiare, verde, mentre il nobile sbuffava, raschiava con diversi oggetti appuntiti gli zoccoli di Buryga, sbuffava molto, consolandolo di tanto in tanto:

- Non è niente, diavoletto, sopporta; in compenso assomiglierai a una persona vera!

E questo non lo voleva il cucciolo – ma quale persona! Voleva già addirittura arrabbiarsi, ma in quel momento Buterbrot finì il lavoro, tolse il lenzuolo dal letto, strofinò con fervore Buryga fino a farlo asciugare. Allora il pelo corto di Buryga si raggrumò tutto, si incurvarono le ginocchia fredde, la codina rimase sospesa tristemente. Il nobile lo lasciò, cominciò a dedicarsi alle polpette, se le

mangiò, aprendo ampiamente la bocca sdentata – aveva in totale quattro denti, e solamente davanti, per mostra. A Buryga diede ancora una volta del pane secco.

Alla sera il nobile Gejnrich Buterbrot spruzzò dell'acqua di colonia a Buryga, lo chiuse a chiave in valigia e lo portò al circo. E consegnò all'uomo-coltello il maglione di Kutaf'ja:

- Vendetelo al rigattiere – può prenderlo con lei... Ai nostri giorni – disse - anche un rublo vale!

IX

Ecco il guaio: Buryga diventò una persona. Avevano già stampato il suo ritratto su carta, e già girava in finanziaria, e aveva tagliato i capelli a spazzola.

Ecco il guaio: nelle mattine grigie e nebbiose, quando cominciava a manifestarsi una nostalgia per la foresta nel suo cuore da diavolo, rubava bicchierini di cognac a Buterbrot.

E Buterbrot aveva accumulato una fortuna: si era messo in bocca i denti d'oro, e avrebbe potuto metterli anche di diamanti, ma glielo avevano sconsigliato: non erano comodi, dicevano. Aveva comprato una macchina semovente e in aggiunta un uomo in pelliccia, aveva comprato un cappello a forma di secchio: si era arricchito Buterbrot, a raccogliere monete da venti copechi per la vergogna di Buryga...

Certo, la vergogna! Di mattina il nobile lo rigirava così e colà, finché il cucciolo non si imperlava di sudore verde, e di sera, come al solito, Buryga entrava da solo nella valigia e si chiudeva da dentro a chiave.

...Al circo proprio Boris Isakyč Meer portava Buryga sull'arena insieme al pagliaccio rosso Osip Ivanyč: là li attendeva un ragazzo alto e robusto col viso da torturatore. Questi scagliava Buryga abilmente e con una certa indifferenza sul soffitto, al trapezio, mentre contemporaneamente ficcava nel naso di Osip Ivanyč un pizzico di polvere bianca, motivo per cui i suoi occhi non vedevano più bene e gli veniva un terribile prurito al naso. Buryga faceva il buffone là, in alto, mentre Osip Ivanyč camminava saltellando per l'arena e starnutiva penosamente sotto gli applausi assordanti del pubblico.

Ogni tanto lanciavano a Buryga caramelle e mele, - che si mangiava immediatamente Buterbrot dietro le quinte, e una volta un certo ragazzetto pieno di gioia scagliò contro Buryga un'arancia che gli finì nel naso. Buryga rispose anche a questo gesto con un pesante e rauco *merci*, mentre di notte pianse per l'offesa subita.

Ed ecco che giungeva un altro “una volta”. Il lanciatore del circo era ubriaco e non riuscì a lanciare Buryga fino al trapezio. Il cucciolo cadde come un sasso sulla sabbia, e Osip Ivanyč lo portò in braccio dietro le quinte sotto la risata sfrenata delle persone allegre.

Mentre il pagliaccio portava via Buryga – Buryga aveva forti dolori dappertutto – questi si guardavano negli occhi vicendevolmente: sotto la luce di luminose lampade li guardavano migliaia di occhi acuti, ma nessuno notò nulla; li ascoltavano migliaia di lunghe orecchie, ma nessuno sentì una parola di quello che si stavano dicendo l’un l’altro questi due buffoni. E loro si stavano dicendo proprio questo:

- Ti voglio tanto bene, Buryga...

- Anch’io ti voglio bene, Osip Ivanyč... Non assomigli affatto a un uomo. È per questo che ti voglio bene!

...Non c’era niente che potesse rompersi in Buryga: non hanno ossa i maledetti, ma Buryga la mattina seguente non si alzò. Il nobile Gejnrich Buterbrot era disperato; il nobile Gejnrich Buterbrot si strappava i capelli dalle tempie, - in altri punti non gli crescevano i capelli; il nobile Gejnrich Buterbrot voleva dal dolore darsi all’alcol... Ma in quel momento arrivò per lui la liberazione.

X

Arrivò per puro caso proprio in quella cittadina una mercantessa spagnola. Suo marito ancora un anno prima aveva vinto con un biglietto duecento mila rubli ed era morto dalla felicità, e la mercantessa gli aveva fatto un monumento, aveva iniziato a vivere e vivacchiare, aveva iniziato a spendere soldi, a godersela in giro per il mondo. La donna andò dappertutto, girò per tutte le Babilonie.

Ma già da tempo provava una forte nostalgia senza motivo, e appena vide Buryga, il cucciolo col naso a proboscide, cominciò a trepidare tutta. Andò da Buterbrot una settimana dopo che Buryga era caduto, gli mise un coltello alla gola, - le era venuta così voglia di avere Buryga:

- Vendimi, mercante, il cucciolo... Prendi quanto vuole la tua anima, e procurami un pieno piacere...

Buterbrot dapprima iniziò a fare il difficile:

- Mi perdoni, - disse – si può dire che lui sia per me come un figlio: dormiamo, si può dire, nello stesso letto... mangiamo dallo stesso piatto!

La mercantessa si rizzò:

- Ah, no no! Accontentami, signore!.. Gli terrò delle lezioni, lo porterò in società come una persona, farò una buona azione per il mio defunto marito!

Comparve una smorfia sul muso di Buterbrot: nella sua anima lui non era affatto contrario a liberarsi del cucciolo, - era già stracarico di impegni: ora dovevano arrivare gli studiosi, prendere le misure della testa di Buryga, guardarlo al telescopio, ora doveva accorrere una folla di giornalisti, che lo avrebbero importunato con domande del tipo: “Ma saprebbe conversare in francese, e potrebbe mangiarsi dei chiodi?”.. – terribile!

Buterbrot batté i denti:

- Un milione...

E poi sbatté di nuovo i denti d'oro e aggiunse in fretta, temendo che la mercantessa se ne andasse subito:

- A lei chiedo solo cinquemila... Favorisca una piccola caparra, - lo imballerò e glielo spedirò.

La mercantessa gli diede subito tutti i soldi.

- La tua merce, – disse – i miei soldi: tieni i contanti!

Il nobile cacciò le banconote in varie tasche, s'infilò il cappello a forma di secchio, andò a spendersi i soldi in alcol.

E Buryga era già guarito a casa della mercantessa.

XI

Basta girare sempre all'estero, è ora di tornare a casa: la mercantessa partì per la Spagna. Allora le toccò sopportare diverse seccature: Buryga non aveva un passaporto personale, e la mercantessa non voleva prenderlo come suo figlio carnale, - i compaesani l'avrebbero messa in ridicolo. Fu costretta a pagare un dazio molto caro per Buryga, come lo si paga per una merce prodotta all'estero.

...Il cucciolo viaggiava in un cassetto caldo, avvolto in una coperta, che la mercantessa aveva tirato via prima di partire dall'albergo, secondo l'uso degli spagnoli.

Viaggiavano e viaggiavano, - finché arrivarono.

A casa della mercantessa il cucciolo Buryga diventò il numero tre: al primo posto c'era il botolo domestico della mercantessa, Annet, che aveva gli occhi di una persona – era capace di camminare sulle zampe posteriori, e al secondo posto c'era il pappagallo Zosima, a cui il defunto mercante nel tempo libero aveva insegnato a dire parolacce indecenti. Buryga quindi diventò il numero tre.

...Dalla mercantessa davano cibo cattivo: al mattino la cameriera portava su un cuscino di velluto verde, dove Buryga si stava ristabilendo, una tazzina minuscola di caffè e del pane eucaristico in suffragio del marito della mercantessa; Buryga mangiava lentamente e sempre lentamente si metteva alla ricerca di qualcosa da mangiare nella casa della mercantessa: rubava le fave al pappagallo Zosima, beveva l'olio delle lampade – a casa della mercantessa ce n'erano centinaia di appese, masticava gli stivali di feltro della mercantessa sotto il divano, e una volta sgraffignò di nascosto dalla cucina tre libbre e mezzo di sapone. Buryga prendeva qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Buryga mangiava tutto, e per lui tutto era poco.

Ma non appena si saziava, iniziavano le sue pene mortali: la mercantessa veniva a impartirgli lezioni di diverse discipline – aritmetica, geografia, religione e altre cose che avevano a che fare con Dio, per via delle quali gli si corrugava noiosamente la pelle sulla fronte e si raggrinziva malinconicamente la sua anima da diavolo.

E allora Buryga pensava:

“Per quanto Rogulja amasse il divino, anche lui scapperebbe via! Giuro, scapperebbe!”

XII

Nel giorno luminoso di San Nicola – in Spagna il gelo pizzica anche di domenica! – la mercantessa uscì per andare a lezione in una vestaglia color rosa. I capelli in testa, rassegnati sotto l'olio vegetale, si estendevano come sentieri, e sulla nuca erano arrotolati in modo così stretto che da un momento all'altro l'olio avrebbe cominciato a gocciolare da essi.

Quel giorno la mercantessa era felice: il patriarca spagnolo aveva promesso di farle visita. Due giorni prima alla messa le aveva chiesto del cucciolo e si era pronunciato così: “Ho sentito parlare del suo, per così dire, cucciolo... Sa, bisogna assolutamente iniziarlo alla fede spagnola, e poi lasciarlo tornare nel bosco: che possa diffondere anche lì il nostro credo”. E la mercantessa si era rallegrata, e le si era allargato il cuore!

Ecco che dunque andò dal cucciolo, si sedette su una sedia, iniziò a chiedere le preghiere. Buryga le lesse la versione spagnola dell'“Ave o Maria”, le raccontò del taumaturgo spagnolo, che

camminava per i mari a piedi, - raccontò tutto distintamente; e la mercantessa non si trattenne e accarezzò il suo pelo corto sulla testolina. Accarezzò, ma tastando trovò le piccole corna del diavolo... Allora le guance della mercantessa si fecero azzurrine, i capelli le schizzarono via dall'olio vegetale, e dalla gola le uscì uno strillo così forte che il cucciolo andò improvvisamente fuori di sé. Guardò la mercantessa tenendo la testa abbassata, e il cuore dello spirito maligno non riuscì a resistere, - il maledetto si rizzò, colpì la mercantessa in faccia una volta, due volte, voleva smettere, ma non riusciva ad arrestarsi: e la colpì per la terza volta.

La mercantessa si mise a strillare, come una porta non oliata, il suo infelice botolo iniziò ad abbaiare, si attaccò coi denti alla gamba di Buryga... aumentò la fatica... E, mentre davano da bere dell'ammoniaca alla mercantessa impazzita, Buryga scappò via dalla casa della mercantessa con la sola camicina addosso, così com'era...

Corse per dieci chilometri ululando, gli zoccoli si copirono di neve, il naso dondolava qui e là, certo, infine perse le forze: cadde su un cumulo di neve vicino al fiume, esanime. Allora lo trovò la cuoca del conte.

...E la mercantessa quel giorno stesso recitò due messe con l'acqua santa, una dopo l'altra, - in occasione della liberazione dal diavolo...

Che disgrazia! Hi hi...

XIII

Il conte si stava preparando per l'onomastico. Quando sia il suo santo, non lo so: non ho dato un'occhiata al calendario ecclesiastico spagnolo: so solo che è in inverno.

Una settimana prima il conte iniziò a prepararsi per questa festa: avevano preparato una torta lunga una sagena, comprato un'intera cesta di salami; il conte stesso, rimbocatosi le maniche, aveva tagliato le mele e aveva fatto un liquore di erbe diverse.

E a Buryga per quella occasione avevano confezionato una giacchetta coi bottoni luccicanti, avevano ordinato un parrucchino, e gli avevano coperto le gambe con delle calzette: Buryga era diventato come un ufficiale, solo di buffo calibro.

Ecco che arrivò il giorno dell'onomastico. Arrivò lo zio del conte, un vecchio calvo dal nome Ivan Sergeič; venne l'alto dignitario spagnolo con le spalline; venne la mercantessa spagnola – vicina

di casa del conte; venne una signora sorda che portò con sé la famiglia: due figlie, come botti, e una terza come una virgola nera e secca con un abito di mussolina. E arrivarono altri ancora.

...E una terribile allegria s'impadronì di loro: gli ospiti si erano stravaccati sul divano, bevevano il liquore, si rifocillavano di salame; divoravano limoni, come fossero rape. Il conte stesso danzava per la casa "alla russa", distribuiva agli ospiti bottiglie di cognac, la testa gli scoppiava per la gioia.

- Bevete – diceva – bevete, per favore. Inebriatevi del vino! E io nel frattempo vi preparo una sorpresa!..

...Il conte custodiva il segreto in cuor suo, voleva stupire gli ospiti, e alla fine mostrar loro il cucciolo col naso a forma di proboscide. E quando arrivò il momento, - gli invitati stavano urlando delle canzoni, l'alto dignitario stava girando come un vagabondo tra i tavoli, - il conte affibbiò a Buryga un vassoio, vi appoggiò delle bottiglie, e lo fece uscire in centro attraverso la porta. Buryga camminava, strofinando il naso sul vassoio.

Ed arrivò in centro, ma non appena scorse la mercantessa il vassoio cadde sul pavimento, sul pavimento c'era ora un mare di vino, su cui si ergevano isole di vetro.

La mercantessa mezza addormentata non riuscì a cogliere da dove provenisse quel fracasso – aveva i riflessi appannati – ma il conte andò su tutte le furie: trascinò Buryga fuori dalla porta e lì gli diede tante botte da poterlo ammazzare e lo riempì di calci.

Da qui iniziò la malattia di Buryga.

XIV

Il cucciolo col naso a forma di proboscide se ne stava in cucina sotto il letto, coperto da una stuoia; se ne stava lì e sbuffava col naso, sentiva scintille nelle viscere, gli sembrava aver resina nella testa, i piedi erano come tirati da dei fili: il conte gli aveva spezzato la colonna. La cuoca gli dava da bere salamoia di cetrioli, ma la salamoia da sola non aiutava contro le botte da orbi e le percosse...

Se ne stava lì Buryga, e il suo respiro pesante vagava per la cucina... Lo annoiava starsene così buttato. Ogni tanto strisciava verso il centro, al solicello... Ed ecco guai in vista: il conte entrò in cucina senza farsi sentire, - aveva della gomma fissata sui piedi, - entrò in cucina e vide Buryga.

Il conte spagnolo cominciò a urlare, lo calciò sulle costole, - strabuzzò gli occhi, dimenò le braccia – iniziò così a ordinare alla cuoca:

- Buttalo fuori dal portone principale, lì qualcuno lo raccatterà... Anzi no, meglio buttarlo domani mattina nel pozzo del vicino! Ecco.. – Il conte aveva degli screzi con il vicino.

Lanciò un urlo e uscì sbattendo la porta.

Dapprima la cuoca si mise a piangere, ma si comportò in modo accondiscendente e il suo pensiero si fece lucido: la cuoca portò Buryga nella cuccia di Šarik; la donna non poteva in nessun modo e con tutta la buona volontà disubbidire alla disposizione del conte.

Šarik era un cane da guardia, un vecchio cane, coi baffi bianchi. Šarik era il migliore amico della cuoca. E da lui sistemarono Buryga.

E il cucciolo fece amicizia con Šarik, e si dividevano gli ossi, e dormivano insieme, come fratelli...

Allora l'inverno non era ancora finito.

XV

In Spagna febbraio è feroce come una belva! – ma quella notte era fresca. I due pelosetti avevano dormito tutto il giorno nella cuccia del cane, scaldandosi l'un l'altro, - di notte erano strisciati fuori in cortile.

C'era la luna nel cielo, le stelle strisciavano ai lati, - la notte era profonda. I due pelosetti rimasero seduti così sulla neve, ulularono all'unisono alla luna, poi tornarono a casa, si buttarono, si coprirono con un vecchio straccio, - e grazie tante alla cuoca.

Buryga sospirò, iniziò a raccontare a Šarik del suo viaggio:

- ...Vivevamo nel bosco... Vivevamo lì, da dove viene il sole. C'ero io, e c'era anche Volosatik, e con noi anche un altro, Rogulja... E in quella pineta viveva un vecchio severo, Sergij, che venerava dio e amava tutti gli esseri viventi della terra...

...Un giorno d'inverno – lì gli inverni non sono così: lì al mattino il sole si attacca proprio al margine della terra e non può alzarsi, è buio tutto il giorno! – un giorno di quell'inverno, - non avevamo nessun posto dove rifugiarsi, non c'era nemmeno un posticino caldo, - ci siamo infilati dal vecchio nel tubo della stufa, - e vivevamo là... Il vecchio lo sapeva e taceva e ogni tanto ci lasciava nel posatoio, come per caso, ora una crosticina di pane, ora della zuppa di cavoli in una ciotola, e noi eravamo sazi...

...Ed ecco che a Volosatik venne in mente di fare uno scherzetto da nulla – mettere furtivamente del tabacco da annusare al vecchietto. Anche noi non eravamo contrari a farci una risata... Ma il vecchio, bisogna dirlo, era severo: gli dispiaceva anche per una pulce, e si tormentava ogni notte in modo diverso.

...E - non ho idea da dove l'avesse tirato fuori – Volosatik gli versò il tabacco nella tunica... Ci siamo appostati nel tubo ad aspettare. Ma Volosatik mi solleticava le narici con la coda; mi faceva scoppiare dalle risate.

...Allora abbiamo sentito di colpo uno starnuto e un urlo adirato:

“Tu, - disse – Volosatik, morirai bruciato come un fiore dorato nel giorno di Ivan.

“Tu, – disse – Rogulja, verrai ammazzato dal vecchio nel giorno di Erofej..

“E tu, - disse a me, – Buryga, creperai in terra straniera perché qualche schifoso te le darà di santa ragione, - e se non creperai subito, inizierai a puzzare”...

...Ecco come è andata. Ora non ci sono i miei amici... sono solo, ma ho te.

Šarik iniziò a sospirare: la sua anima non era così sensibile come quella degli umani. Šarik pensava alle sue cose, e Buryga pure...

Si stava al calduccio nella cuccia – c'era molto pelo.

...E la luna pallida se ne andava dietro la cuccia, si era fermata la notte blu, c'erano le stelle in cielo, - c'era voglia di ululare!..

XVI

Marzo era arrivato da circa una settimana in Spagna, ed era come quella notte...

Il cucciolo se ne stava buttato, e poi si voltò verso Šarik, disse a Šarik – e lo disse in modo che gli mancò il fiato:

- Šarik, ah Šarik...

- Beh, che hai?..

Ma Buryga taceva. Poi di nuovo:

- Šarik...

- Allora?

- Šarik, voglio andare a casa... là.

A Šarik si strinse il cuore:

- Perché devi andare là?..

- Non va tanto bene qui da voi... Per noi è diverso... Tu, Šarik, non puoi capire... Ci vado a piedi.

Rimasero di nuovo in silenzio.

...In cielo c'era una barca azzurra. In quella barca nuotavano sogni misteriosi, sulla terra fiorivano fiori azzurri di neve...

Chi è la Persona Buona che vi ha piantato?

...Šarik disse di nuovo:

- Beh, allora... fallo pure... certo.

E si voltò per dare le spalle a Buryga. Si voltò per questo motivo: non voleva che qualcuno vedesse le lacrime di un cane. Le orecchie di Šarik sobbalzavano...

Buryga chiese:

- Cos'hai, Šarik?

Šarik guai rudemente:

- È così... per via della vecchiaia.

Quella notte ulularono insieme alla luna per l'ultima volta: non c'era più la luna, - sul cielo camminavano quatte quatte basse nubi grigie, in attesa del sole di primavera.

E un giorno si decise.

Marzo era giunto alla fine, - gli ossi di Buryga erano avvolti nello straccio, il tozzo di pane era nello stesso posto, portava una vecchia blusa imbottita – un regalo della cuoca. Tre volte benedetta!

La cuoca rimase in piedi nel terrazzino d'ingresso, guardò lo spirito maligno, sussurrò con pietà, come fosse una preghiera:

- Forza, va'!.. Mi sono congelata qua con voi... Sta' attento, non cadere sotto la macchina! Ma guarda un po', che goffo!..

E se ne andò.

Buryga si sedette vicino a Šarik, quello leccò il naso a forma di proboscide e di nuovo si voltò: occhi di cane, non sanno trattenere le lacrime!

Buryga uscì dal cancello.

E di nuovo era notte in cielo. Essa sussurrava come in una preghiera verso il basso:

- Vieni, Buryga, vieni... Dove ne hai bisogno, ti avvolgerò nelle tenebre, dove ne hai bisogno, ti porterò sulle ali, vieni.

...Quella notte, fino al mattino, Šarik ululò in cortile. Ululava da solo, allungando in cielo il suo sciocco muso rotondo... E ululava e ululava, senza lasciare dormire il conte, senza lasciare che il silenzio avvolgesse la terra nel sonno...

È chiaro: la malinconia di un cane non è mica uno scherzo!

Così il vecchio Egor di Staroe Likeevo ha raccontato.

Gennaio 1922.

Тогда цвела земля.

Не оставались бесплодны поля: платил колос земледельцу семь полных горстей зерна за зерно. Домой не возвращался без добычи зверолов: топором он убивал двух, сидящих в западне, сразу. Радовалось сердце виноградаря: каждый грозд винограда его, насыщенный солнцем, был прозрачен и нежностью походил на грудь женщины Киттим из Элассара.

Цвела черная плоть земли, которая — как рабыня под солнцем, господином. Было звонко ее цветенье — как крик буйволицы о весне. Цвело и пело все, обладающее жизнью. Пел зверолов, напрягая лук в онагра, — земледелец, вскапывающий ноле, пел. Пел пастух, ведя вечерних овец к водопойному корыту, — виноградарь, выжимающий сок гроздьев, пел. Пел репей, простирая колючки над песчаным камнем, — и птица пела, вдоль Хиддекеля направляя широкое крыло.

А на земле жил пастух Ной, в нем кровь Сифа. Его отец — Ламех, сын Мафусала, которому удлинен путь дней. Тот, которого жилище Гаукад, северная гора земли, щедро наградил Ноя и жизнь его насытил обилием дней. Старыми глазами глядел Ной назад и не видел дальше Ламеха. Старыми глазами глядел он вперед и не видел дальше трех сынов и пятерых внуков, которые покоят глаз Ноя, пастуха.

Сеннаара глубокие долины жаждут прохлады и сна. Орел дважды облетел по кругу над Гаукадом, рассыпая в тишину мелкие крики. Небо молчит.

Варит мясо на костре Иафет, первенец. Солнце, которое опускается по ту сторону земель Адмы, дает нам видеть Иафета.

О, Иафет! Ты рыжий буйвол. Твоя грудь — грудь буйвола, рост твой — рост белого тополя. Лоб твой сулит рога. Когда западню на зверя ставишь ты, шепчет серна-мать детенышам своим: «Вот звенит тополь помутневшей листвой, — то Иафет ставит западню на вас». Ты идешь, когда все спит, и звезды светят только Иафету. Семени своему дашь ты гордость разума, крепость мышц.

Варит мясо на костре Иафет, стрижет овна Сим. Солнце, уходящее за черные столбы неба, кидает к нам черную тень Сима.

Ты — как вол, Сим, которому надломило шею деревянное ярмо. Всю тяжесть знойного поля выносишь ты. Острый пот полуденного труда заставил моргать чаще твои зоркие глаза, Не сломается мотыка твоя о камень, не ошибется в выборе двух баранов глаз. Будут недалекие дни, загорядят горы путь к Эдему, но теменем пророешь нору, длинную в широту горы, и выйдешь к воротам, где меч, щуря узкие глаза. Спросит: кто ты? Ответишь: я человек твой, Сим. Не гони, яремного быка не тронь. Ты разбивал градом колосья отца, я не поднял на тебя бранного слова. Я дал тебе сто пятнадцать мелкорунных овец и двенадцать больших быков, вожаков стада. Но ты скажешь, и я дам больше. Скажет: приди.

Варит мясо Иафет, Сим стрижет овна, в тимпан ударяет Хам. Вот слова Хамовой песни: «Утром я пришел к источнику, где виноградники отца. В воде я увидел человека, подобного мне. Я сказал: земля цветет. Он ответил: да. Я сказал: земля, хорошо. Он ответил: да. Я сказал: гонится за нами солнце, скоро ребенок дотянется до него рукой. И он ответил мне»...

Чернота приходит с севера, ярче пламя костра. Не кричат внизу стада Ноя. Горы прилегли к земле и спят.

Оглянись, — две женщины прячут у шатров мягкое руно овец. Сыновья Ноя мужья им. Третья доит козу привычной рукой. Она — Селла, жена Сима. Глаза ее черней ясписа, за который платят купцы из Теруана по двенадцать коров пшеницы. А вот женщина Иска, она родила Иафету Фираса и Мадая. Ее волосы и под небом ночи не изменят цвета — цвета огня, пожирателя нив. Вот женщина Кесиль, жена Хама, неплодная как Киттим из Элассара. Ее тело длинно, неутомимо в страсти, неутолимо в ласках, неутолимо в любви.

Ночной камень смотрит в звезду и впитывает влагу, идущую от Хиддекеля. Тимпана низкое гуденье рукой приглушает Хам.

Тогда цвела земля. Благоуханьем сада было дыханье всякого живого. Плоды в садах были — как солнце, и солнце самое — как созревший плод. Утром встал от сна пастух Ной и сказал всем живущим в его шатрах:

— Пусть никто не говорит со мной. В ночь, которая прошла, я пошел во тьму Гаукадского камня. Небо лопалось и шумело, а я вышел из круга стад и пошел к холмам, которые по ту сторону отражает Хиддекель. Они круты, молнии ломают на их склонах свои спины, спеша упасть. Я прислонился к стене и сделал себя подобно тыкве, выдолбленной для

чужого вина. Был отдаленный гул, словно горы дули в трубу. Я задержал дыханье. Вот завет минувшей ночи, слышанный мной:

«Я Отец. Я кладу конец дням земли. Криком людей не сжалится ухо Отца. Седьмое солнце уйдет за Гаукад, вот я кидаю воды. Они войдут во все трещины земли, будь то уста царя или щель горы, лоно женщины или чаша цветка. Построй дом, чтоб плавал. Ты покинешь долину Хиддекеля, где качаться отныне станут рыжие горячие пески. Никакой не скажет: здесь жили. Никакой не ответит: да».

Когда услышал, запел Иафет, потрясая топором. Голос его был тягуч и низок, как звук рыкающего льва. Сим затаил усмешку, меря привычным глазом расстояние до неба, еще не грозившего дождем. Хам сидел, зажав лицо в коленях, и не говорил.

Потом они построили ковчег, видом как дом, но плот — вот основанье ковчега. Он был разделен на части, чтобы туда, где человек, не вошел гад, а туда, где спала коза, не прокралась львица. Когда стал готов дом, воспели славу Отцу все Ноевы. Но молчал Хам, не отрывавший уstraшенного взгляда от Гаукада, куда уходили корни солнца.

А когда смолили ковчег, к ним пришел человек в льняной одежде, Иавал из Элассара. Он привел сына и дочь. Она, юная, имевшая имя Имны, была невестой Хассу, сына Актала, царя Адмы.

Иавал! — он упал на колени перед Ноем и поцеловал нижнюю грязь кожаного его плаща, говоря:

— Знаю о гневе, знаю о гибели. Слушай, Ной. Я прошел трудный путь двух дней. Не должно погибнуть семя Иавала на земле. Вот я прихожу и стучусь. Спаси семя Навала в сыне моем!

Молчал Ной, и три сына его молчали. Еще сказал Иавал, простираясь в грязь и прах вчерашней непогоды:

— Тяжела борода моя днями, как медом пчелиный сот. Пастух, возьми бороду мою и, намотав как веревку, дерни вверх и вниз. И вытри ею ослий помет с порога твоего шатра. Спаси сына!

Молчал Ной, закрывая полою плаща лицо себе, ибо тут обнажил старик тело дочери и стал кричать, ударяя себя в щеку:

— Ее имя полнозвучно, как звучащая медь Баураха. Розовость ее груди — гляди! Как будто в розовой раковине родилась она. Живот ее дышит, — разве плохо тебе положить сюда свою голову, тяжелую гневом, и спать, покуда будешь плыть и подыматься выше гор. Раствори врата девства ее, но спаси Иавалова сына!..

Ной открыл уста говорить, но подошел Иафет к уху Ноя и произнес отцу:

— Кто он, Иавал, чтоб спасти его семья. У него дрожит голова, а этот не задушит и собаки. Пусть уходит! Слепого, когда в огне ищет убежища, разве пощадит огонь?

И поднес Сим тонкие губы к другому уху отца:

— Ты возьми дочь, а этого мы убьем в ковчеге. Равно ему, где гибнуть, если гибель ждет его.

Тогда показал спину Ной пришедшему Иавалу:

— Иди в Элассар. Нехорошо умереть вне дома. Семья твое пожрут рыбы с зеленым пятном на голове.

Иавал! — он упал на плоский камень, на котором резал обычно мясо добычи Иафет. Вот крик Иавала:

— Горе всем, кому завтра уже не будет горя... Моря уходят из скалистых лон. Реки посылают им вдвое воды. Горы перестают ползти на север. Пусть шило порабощения проколет мне ухо, — не хочу гибели семени моему...

Сын Иавала молчал. Он был мальчик и не знал. Имна сказала:

— Не плачь. Хочу ласки свои отдать Хассу. Ложе царя менее жестко, чем ложе пастуха, спящего на козлином помете...

Им, повернувшись уходить, вдогонку швырнул камень Сим, но не убил. Они уходили за рубеж горы, трое, посредине Иавал, в город, над которым висел зной блуда женщины Киттим. Та ночь пришла без звезд, потому что была кануном водного низвержения.

Бьет в медные доски Элассар, плачет на камне Адма, стонет Герар, ударяя себя в грудь. Ужас гибели овладел ими. Вот идет туча, она подобна горе.

Ветер топчет и растаптывает глубины. Он вырвал дерево и песет его, как птицу. Гул громов проскакал по тучам. Молния бежит.

Сотрясаются стены далекого Фесрима, и колена преклоняет Теруан. Раскалывается Баада железная голова, дрожат иступлением ужаса Салимские равнины.

Осмолен ковчег, затворяются двери. Окружен ковчег Ноя людьми, которые плачут, и ветрами, которые ждут знака, чтоб двинуть дом спасения по пустыням вод.

Кричит из затворяемого ковчега связанный братьями Хам.

Первая бездна упадет. Ключарь неба отверз узы Кешиля. Воин тьмы разрубил узел Химы. Отвесные ручьи бегут и топят. Плачь, Адма! На зубец упадающей башни надень венец царя...

Низвергается вторая бездна. Плачь, Элассар, и воем зверя вой на гордых стенах своих. Острый крик твой пусть пробьет тучу, чтоб скорее приблизила смерть.

Черным туманом проносится третья бездна, с деревьев обрывая померкший лист. Бушует ветер, ломает крыло птице. Прибегает, подобная вепрю, буря, смысл ее бега вот: налетит на дерево — не будет дерева, ударится о гору — будет дыра в горе.

Опрокидывается чаша четвертой бездны; хлещет и кричит. Трижды омылось глиняное подобие Отца на ковчеге Ноя. Запрокинулись руки Имны над неподвижным Иавалом, — не Хассу ли зовет она к себе?

Пятая бездна рушит слабые преграды низких туч. Вот тридцать восемь пастухов в равнине. Догадавшись о гибели, они не бежали в горы от стад своих. Козы плачут и плавают в водах, ревом смерти трубят козлы. Плащами закрыли себе лицо пастухи, ибо не может пастух видеть, как волк умерщвляет стадо, и не убить волка.

Умирает на дозорной башне Киттим. Останавливается биенье жизни в ее жилах. И уж не видит никто, как, потрясая тускнеющим золотом запястий, ласку свою предлагает Отцу Киттим, чтоб жить.

Медник Баурах, отец Герарского истукана, садится в медный котел и плывет. Хитростью вора щурятся круглые его глаза. Упадает огонь на стриженое темя Баураха, становится чашей возмездия — спасения медный котел.

Улеглись бездны над городами земли. Над водой летит уцелевшая птица. Жалобен крик птицы, потерявшей гнездо. Она кружит ослабевшим крылом и садится на ковчег Ноя, плывущий во тьме. Рука человека высовывается из окна в крыше, и машет бичом, и прогоняет

птицу. Она подымается высоко, но вода бросает ее в пучину. Жалобен крик птицы, падающей в пучину.

Шестая бездна низверглась.

Видишь — это воды. Прыгнув до облаков, они застыли. Они ровны. Верь слову Иафета: солнце будет всходить под водой. Теперь так: вверху небо, внизу вода. Небо жидкое, как вода, вода синяя, как небо. И если перевернуть дном вверх, не различит око Сима, где произрастал колос плоти, где ковался серп гнева.

Теперь считать так: сорок дней изливались дожди, сорок ночей приходили воды. А усиливалось чрево пучины — сто пятьдесят дней. В девятый день Иафет выглянул в щель ковчега и увидел: среди зыбей тела мертвых. Они плыли в разные стороны, но одинаково расступались, давая путь ковчегу, влекомому неспешно восточным ветром. Плачущее лицо Иавала увидел Иафет у одного из плывущих и сказал Симу. Сим выглянул, но уже не видел.

Один из дней седьмого месяца был пределом паденью вод. Встала тишина и стояла до десятого месяца. Однажды взошло солнце, но не увидело, для кого бы изливать ему свет и жар. Опечалась, ушло оно в воду. В десятый день одиннадцатого месяца вылезла мокрая глава Гаукада. В пятнадцатый день Ной открыл окно в крыше и выпустил орла в синеву очистившегося неба. Орел вернулся, принес чужую руку. Потом Ной выпустил голубя, но возвратился тот, ибо была ночь, насыщенная страхом. В двадцатый день голубь принес листок маслины на сожженную крышу ковчега. В двадцать девятый день он не возвратился. Но все еще колыхались воды, и скрипели устои ковчега, колеблемые течением вод.

Ночь темна. Ной дремлет. Холод утишает рябь воды. Красная луна высунула острие серпа из пучины.

Иафет высек огонь. Сухое дерево горит, капли смолы сбегают вниз. Сим точит нож о камень. Хам глядит в угол. Во тьме угла львица спит с оленем, буйволица кормит грудью своих. Потом стал петь:

«Слушайте, моя песнь о начале. Была пустота, и все было одинаково. Тишина охраняла все. Отец сказал, чтоб земля и солнце стали быть. Солнце и земля, села! Она зачала от солнца и родила яблоню, человека и пчелу. Села! Солнце лежало и правой руке Отца, а в левой — земля»...

Факел посылает струйки дыма вверх. Иафет пришивает заплату на плащ Мадея. Вторит Хамову голосу глухая кожа тимпана:

«Были пустоты и глубины наполнены водами мрака. В них отражался Отец. Тот, который отразился, пришел неслышно. Когда был близко — выхватил землю из руки Отца и прыгнул в глубины и пустоты. Он стал тогда вторым Отцом земли. Бытие дала ему земля»...

Страхом напрягается лицо Ноя. Львица облизывает губы. Ветер ударяет по ковчегу крылом.

«Тогда вздрогнуло сердце Отца. Он метнул яростной десницей солнце вослед похитителю. Он дал ему силу камня лететь, жар огня жечь. Оно качнулось пламенной дугой, летя. И тогда сорвались все шары, висевшие в глубинах и пустотах, и понеслись вокруг них, чтоб видеть, как ярость солнца пожжет грех земли. Ибо земля зачала от похитителя и родила Левиафана»...

Ной гневно восстает на сына, но заглушает Ноевы слова грозное гуденье тимпана:

«...бежал и уносил землю. А солнце приближало гнев, укорачивая пути и суживая кольца. Они бежали, а над ними бежали пустоты и глубины. Вечность, — вот имя пробегающих над головами нашими пустот и глубин. В те дни сказал похититель: ты умрешь, думающая о солнце. Я кладу конец дням земли. Криком людей не сжалится ухо Отца. Хотя бы и я умер с тобою»...

Слова разгневанного Ноя вот:

— Или ты думаешь, что я поклонялся похитителю в благостную ночь завета?..

Бич опоясал голую спину Хама. Иафет пошел к ложу жены. Сим опробовал на волосе острие ножа. Хам спросил у Ноя:

— Кто дал силу разуму твоему бить меня?

Слова Ноя:

— Долголетие жизни моей.

Слова Хама:

— Дает долголетие человеку остроту разума, но не самый разум!.

Слова Ноя:

— Твоя цена — цена пса!..

...Ночь темна. Луна уходит в воду. Стоглавый увидит столько же, сколько и слепой. В ту ночь огонь поднялся и стал пожирать крышу. Семирогий вол прыгнул в воду и хотел плыть, но рога увлекли его в пучину. Он ушел в Торуан, мертвый ныне, ибо над Торуаном проплывал ковчег. Вот почему не осталось в Салиме семени семирогого вола...

Пламя сползло на стены, но встала туча и спасла жизнь всем Ноевым. Они окружили мокрые камни затушенного очага и дрожали. Был свиреп холод тех ночей. На заре, когда солнце обсушивало, Сим подошел к Хаму и сказал ему в ухо:

— Когда зажигаешь дом, клади огонь не под крышу, а в основанья стен. Тот, кто зажигает, должен округлить глаза и кричать больше всех...

Приближался конец второго месяца, стал неподвижен ковчег. Заблеяла коза, лев облизал когти, на обгорелую стену вползла змея.

Ной вышел на плоскость горы, лежавшей под ковчегом. И вышел кто ходил, вылетел кто летал, выполз кто ползал. Все стали на краю горы и глядели вниз.

Много озер образовалось по земле. Они гнили, но отражали голубой блеск, а вся земля была сера и зелена, потому что омертвела. Стволы, окутанные тиной, не имели листья. Смерд, — так дышит убитый, — носился над холмами, поднялся и ударил в ноздри людей. Люди глядели и видели.

На ближнем камне принес благодарную жертву Отцу пастух Ной. У него были глаза вора, когда он раскладывал огонь. Дымились благовония, но отнимал их от ноздрей Отца смерд земли.

Потом пошли новые дни.

Редет облако над равниной, шары жертвенного дыма разбиваются ветром на голубые круги.

Снимает шкуру с овна Сим. В небо смотрит Ной, стараясь угадать. Уходит Иафет в долину ставить западни. Лопаются почки миндаля. Клювастая птица смыкает тесные круги над котловиной, где гниет зверь. В шатре своем сидит бессильный Хам.

К Ною подходит Сим, второй Ноя.

— Я Сим. Благослови меня.

Ной:

— Но Иафет первенец мой.

Слова, исходящие с дрожащих губ Сима:

— Я давал тебе хлеб и дам до конца дней. Выя моя — дом твой. Рука моя — посох тебе. Иафет, ва! Кто станет опираться на облако и ходить по краю обрыва? Он уходит, и каждый куст в болотах земли Хавила ему — шатер отца. Мое же сердце — ковш. Пей из него отдых полной мерой!

Ной говорит:

— Но Хам... Он последний мой.

Сим:

— Хам, неплодный Хам!

Тогда возложил Ной руку отца на голову Сима и низвел твердость железа на семя его. Благословляя, плакал, усомнившись в Иафете. Из праха, где лежал, восстал благословенный Сим и стал петь. Были коротки и хриплы порывы его голоса:

«Радуйся, Луд, мудрость твоя везде. Возвеселись, Элам, вижу я огромность стад твоих. Смейся, Ассур, ты воссядешь по стенам земных городов. Иафет, что ты? Тебя разрубит крылом птицы веков на части. Ты облако. Мы пройдем сквозь сынов твоих, как сквозь дым! Хам, кто ты, чтоб поднимать сердце, — или нет такого же сердца во мне? Зверь будет поедать твое семя. Иафет вознесет меч, а Сим опустит его на выю Хама... Я, Сим, иду как шар. Я все топчу, и все идет за мною. Я взрыхляю землю, чтоб дала плод. Я благословенный Сим!..»

Вечер пришел. На жертвенном камне обуглились кости. Женщины ушли в поле, но не Кесиль — полная, чтоб родить. Когда взошло солнце другого дня, Кесиль родила сына. Хам вышел на равнину и увидел радугу, очертившую небо. Хам понял и назвал тот день Днем Раскаянья.

Ханаан был первенец.

Забыла земля.

Опять цветут лилии в Салиме и прежние поднимают чаши на длинных стеблях. Гудит пчела и садится в чашу и дальше уносит крыльев своих низкий звук. Ждут влаги умыться пыльные листья маслин. Поезде, куда достанет взгляд, репейниковые стада бегут по солнечному лугу.

Цветет забывшая земля, и золотая пыль цветенья висит до облака, свисающего грузно вниз. Мотыке взрыхлять землю, западне ждать зверя, лопате окапывать виноградники.

Далеко, под горой, па которой ночуют ветры, сгнивает ковчег Ноя. Репейники бегут по сорному праху Эласара и качаются в зное на размытой Герарской стене.

И уже созрел плод осени и готовился упасть. Жар замутил небо. В прозрачной тени виноградника Хамова круглые солнца лежат по песку. Тропинку, заросшую травой, пересекает Хам. Здесь хорошо уронить утомленное тело и познать сладость полуденного сна.

Тут видит Хам страшное для своего разума. Кулак он поднял над головой и бежал к братьям, которые ели овечий сыр в тени большого дерева. Он звал их, и они пришли, а Хам скакал и протягивал палец бесчестия в отца, спавшего в любовной истоме под виноградным кустом с женой его, Кесилью. Но братья закрыли лица свои и не видели.

Когда Ной, восстановленный в силах гневом, увидел, что узнано его дело, крик сломал губы ему. Он проклял Хама, как Отец землю в дни ковчега:

— Покрой лицо себе копотью очага и уходи от моих шатров. Две беды, два льва загородят путь тебе, но ты жди четырех. А когда придут четыре, — жди восьми. Ханаан — раб Фираса и Мадая, Луда и Ассура. В Ханаане, в семени своем выпьешь ты позор, как горькое вино неудачной осени. И страус, который скачет, птица желтой пустыни, положит яйца в горячий песок на пороге твоего шатра... Пусть забудет об огне отросток Ханаана!

Тут падающего Ноя поддержал благословенный Сим. Он вытер от песка голое плечо отца и спросил громко Хама, плакавшего невдалеке:

— Где тимпан твой, последний Ноя?

Дождь предзимней непогоды падает скупой. Туман позднего месяца ложится на луга. В нем повисла тусклая луна, — она как убитый заяц. Спит Ной и все, кто в его шатрах. Уходит Хам из шатров отца. Ветер идет с севера.

Дрожит маленький Ханаан в кожаном мешке на спине осла. Напрасно ищет взгляда мужа адмянка Кесиль. Облепили ветры ее горячее тело мокрым плащом. Хам выходит за рубеж стад. Лицо его заострилось, а спина погнулась, как коромысло, на котором носят воду, когда источник далеко. Камень усиливается под ногами.

Перед лицом горы, вокруг которой шагают бешеные ветры, остановился Хам. Последняя песнь Хама:

«Холод усыпляет Ханаана. Ветер гонит в спину меня. Когда приду на место, не стоящее под непогодой, положу четыре камня, высеку огонь. Я обсушу мокрую спину и пошлю камень в ту сторону, где твои стада. Пусть ты, услыша свист его, вспомнишь жалобные дни ковчега.

«Дни текут, как овцы к водопою. Кто остановит, смелый, течение вешних вод и напор безудержного стада! Я увижу правнуков Ханаана. Когда я буду уходить, вот я говорю им: это Тот, который там, вверху, велел вам забыть об огне и кричать так, как кричат ночные звери. Это Тот»...

Идет скот, треть от Ноева скота. Их головы направлены туда, за хребты морозящих гор, куда уходит солнце на ночь и птица в зимние дожди.

Там, в полуденном жару настигающего солнца потемнеет лицо Хама.

Июль 1922 г.

La partenza di Cam

A Sergej Alekseevič Lopašev

Allora la terra fiorì.

I campi non rimanevano infecondi: la spiga ripagava l'agricoltore per ogni seme con sette pugni di grano. Il cacciatore non tornava a casa senza bottino: uccideva due prede in trappola contemporaneamente con un colpo d'ascia. Il viticoltore aveva il cuore pieno di gioia: ogni suo grappolo d'uva, impregnato del sole, era trasparente e assomigliava teneramente al petto della donna Kittim di Elassar.

Fiorì la terra nera, che è come una serva sotto il sole padrone. La sua fioritura era sonora, come il grido di una bufala alla primavera. Fiorì e cantava tutto ciò che aveva vita. Cantava il cacciatore, che tendeva l'arco contro l'onagro, e il coltivatore, che vangava il campo. Cantava il pastore, che di sera conduceva le pecore alla vasca dell'abbeveratoio, e il viticoltore, che spremeva il succo dei grappoli. Cantava la lappola, che stendeva le sue spine sopra le rocce coperte di sabbia, e cantava l'uccello, mentre si dirigeva con le sue larghe ali verso il fiume Hiddekel.

E sulla terra viveva il pastore Noè, in cui scorre il sangue di Set. Suo padre è Lamech, figlio a sua volta di Matusalemme, a cui è stata allungata la strada della vita. Quello, il cui luogo dove viveva Gaukad, che è la montagna settentrionale della terra, premiò generosamente Noè e riempì di un'abbondanza di giorni la sua vita. Noè guardava indietro con gli occhi di un vecchio e non vedeva più Lamech. Guardava avanti con gli occhi di un vecchio e non vedeva al di là dei suoi tre figli e cinque nipoti, che rasserenavano l'occhio di Noè, il pastore.

Le valli profonde del Shinar bramano il fresco e il sonno. L'aquila è volata due volte in tondo sopra Gaukad, spargendo piccole grida nel silenzio. Il cielo tace.

Cuoce la carne sul fuoco Jafet, il primogenito. Il sole, che sta calando al di là delle terre di Adma, ci permette di vedere Jafet.

Oh, Jafet! Sei un bufalo rosso. Il tuo petto è quello di un bufalo, la tua statura è quella di un pioppo bianco. La tua fronte fa presagire le corna. Quando metti la trappola per l'animale, mamma camoscio sussurra ai suoi cuccioli: "Senti come risuona il fogliame torbido del pioppo, significa che Jafet sta mettendo una trappola per voi". Cammini, quando tutto dorme, e le stelle brillano solo per Jafet. Alla tua prole darai l'orgoglio dell'intelletto, la forza dei muscoli.

Cuoce la carne sul fuoco Jafet, tosa l'ariete Sem. Il sole, che se ne sta andando oltre le colonne nere del cielo, lancia verso di noi l'ombra nera di Sem.

Sei come un bue, Sem, a cui il giogo di legno ha spezzato il collo. Sopporti tutto il peso del suolo cocente. Il sudore forte del lavoro a mezzogiorno ti ha costretto a chiudere e riaprire più spesso i tuoi occhi acuti. Non si romperà la tua zappa contro la pietra, non si sbaglierà nella scelta di due montoni il tuo occhio. Non passerà molto tempo che le montagne sbarreranno la strada per l'Eden, ma scaverai con la testa un cunicolo, lungo quanto una montagna, e strizzando gli occhi ridotti a fessura, arriverai all'uscita, dove c'è una spada. Chiederà: chi sei tu? Risponderai: io sono il tuo uomo, Sem. Non cacciarmi, non toccare il toro aggiogato. Con la grandine hai distrutto le spighe del padre, io non ho pronunciato nemmeno una parola ingiuriosa contro di te. Ti ho dato centoquindici pecore dal vello fine e diciannove grandi tori capobranco. Ma chiedimi, ti darò di più. Dirà: vieni.

Cuoce la carne Jafet, Sem tosa l'ariete, suona il timpano Cam. Ecco le parole della canzone di Cam:

“Stamattina sono venuto alla fonte, dove ci sono le vigne del padre. Nell'acqua ho visto una persona, simile a me. Ho detto: la terra fiorisce. Lui ha risposto: sì. Ho detto: la terra, va bene. Lui ha risposto: sì. Ho detto: il sole ci insegue, tra poco il ragazzo arriverà a sfiorarlo con la mano. E lui non mi ha risposto”...

Il buio viene da settentrione, la fiamma del falò è più luminosa. Di sotto, non gridano le mandrie di Noè. Le montagne si son adagiate sulla terra e dormono.

Guardati intorno – due donne vicino alle tende stanno filando il soffice vello di pecora. I figli di Noè sono i loro mariti. La terza munge la capra con mani abituate al mestiere. È Sella, la moglie di Sem. I suoi occhi sono più neri del diaspro, per il quale i mercanti di Teruan pagano diciannove cori di grano. Ed ecco la donna Isca, che insieme a Jafet ha generato Tiras e Madai. I suoi capelli nemmeno sotto il cielo della notte cambiano colore – il colore del fuoco, divoratore dei campi. Ecco la donna Kesil, moglie di Cam, sterile come Kittim di Elassar. Il suo corpo è lungo, instancabile al dolore, insaziabile di carezze, implacabile d'amore.

La pietra della notte guarda le stelle e assorbe l'acqua che arriva da Hiddekel. Cam smorza con la mano il basso rombo del timpano.

Allora la terra fiorì. Il respiro di ogni essere vivente era come un giardino profumato. I frutti nei giardini erano come il sole, e il sole stesso era come un frutto maturo. Al mattino il pastore Noè si destò dal sonno e disse a tutti coloro che vivevano nelle sue tende:

- Che nessuno parli con me. La notte scorsa sono andato nel buio della roccia di Gaukad. Il cielo si squarciava e tuonava, e io sono uscito dal recinto delle mandrie e sono andato sui colli, che Hiddekel riflette su quel lato. Sono ripidi, i fulmini nella fretta di cadere spezzano le loro schiene sui loro versanti. Mi sono appoggiato alla parete e mi son fatto simile a una zucca, scavata per contenere il vino altrui. Ci fu un rompo lontano, come se le montagne soffiassero in una tromba. Ho trattenuto il respiro. Ecco la promessa, sentita da me la scorsa notte:

“Sono il Padre. Io metto fine ai giorni della terra. L’urlo delle persone non impietosisce l’orecchio del Padre. Quando il settimo sole se ne andrà oltre Gaukad, io lancerò le acque. Entreranno in tutte le crepe della terra, sia la bocca di un re o la fessura di una montagna, il grembo di una donna o il calice di un fiore. Costruisci una casa che possa navigare. Abbandonerai la valle di Hiddekel, dove inizieranno a oscillare d’ora in poi le sabbie rosse e calde. Nessuno potrà dire: vivevano qui. Nessuno risponderà: sì”.

Sentite queste parole, Jafet cominciò a cantare, brandendo l’ascia. La sua voce era monotona e bassa, come il suono di un leone che ruggisce. Sem trattenne un sorriso, mentre misurava con occhio abituato la distanza dal cielo, che ancora non aveva minacciato di piovere. Cam era seduto, col viso stretto tra le ginocchia, e non parlava.

Poi costruirono un’arca, dall’aspetto di una casa, ma come una zattera – ecco la formazione di un’arca. Era divisa in parti, affinché lì, dove c’era una persona, non entrasse un rettile, e laddove dormiva una capra non entrasse furtivamente una leonessa. Quando la casa fu pronta, tutta la famiglia di Noè cantò la gloria al Padre. Ma Cam taceva, non riuscendo a togliere lo sguardo terrorizzato da Gaukad, dove facevano capolino le radici del sole.

E quando incatramarono l’arca, arrivò da loro una persona in abiti di lino, Jabal di Elassar. Ha portato con sé il figlio e la figlia. Quest’ultima, giovane, che porta il nome di Imna, era la fidanzata di Hass, figlio di Aktal, re di Adma.

Jabal! – egli cadde in ginocchio davanti a Noè e baciò lo sporco sul lembo inferiore del suo mantello di pelle, dicendo:

- So dell'ira, so della morte. Ascolta, Noè. Ho percorso un cammino arduo per due giorni. Non deve morire il seme di Jabal sulla terra. Ecco io vengo da te e batto alla tua porta. Salva il seme di Jabal in mio figlio!

Taceva Noè, e anche i suoi tre figli tacevano. Jabal, stendendosi sul fango e sulla polvere del maltempo del giorno prima, disse ancora:

- La mia barba è pesante da giorni, come il favo delle api col miele. Pastore, prendi la mia barba e, dopo averla avvolta come una corda, tirala su e giù. E usala per pulire lo sterco d'asino dalla soglia della tua tenda. Salva il figlio!

Taceva Noè, mentre si copriva il volto con una falda del mantello, poiché in quel momento il vecchio aveva denudato il corpo della figlia e aveva iniziato a urlare, colpendosi sulla guancia:

- Il suo nome risuona come il rame sonoro di Baurach. Il colore roseo del suo petto – guarda! Sembra sia nata in una conchiglia rosa. Il suo ventre respira – non ti farebbe bene appoggiare qui la tua testa, appesantita dall'ira, e dormire mentre fluttui e ti sollevi oltre le montagne? Apri le porte della sua verginità, ma salva il figlio di Jabal!..

Noè aprì la bocca per parlare, ma Jafet si avvicinò all'orecchio di Noè e disse al padre:

- Chi è lui, Jabal, per salvare la sua prole? Gli trema la testa, questo non strangola nemmeno i cani. Che se ne vada! Il fuoco ha forse pietà del debole che cerca riparo durante un incendio?

E Sem portò le labbra finì all'altro orecchio del padre:

- Prendi la ragazza, e lui lo ammazziamo nell'arca. Gli è indifferente dove morire, se la morte lo attende.

Allora Noè mostrò la schiena a Jabal che era giunto poco prima:

- Vai a Elassar. Non è bello morire fuori di casa. La tua prole la divoreranno i pesci con la macchia verde sulla testa.

Jabal! – egli cadde sul sasso piatto, su cui solitamente Jafet tagliava la carne delle sue prede. Si sentì il grido di Jabal:

- Disgrazia a tutti coloro che già domani non avranno più disgrazie... I mari se ne vanno dalle viscere rocciose. I fiumi mandano loro il doppio dell'acqua. Le montagne smettono di strisciare verso settentrione. Che la lesina dell'asservimento mi buchi un orecchio, non voglio la morte della mia prole...

Il figlio di Jabal taceva. Era un ragazzo e non sapeva. Imna disse:

- Non piangere. Voglio dare le mie carezze ad Hass. Il letto del re è meno duro del letto del pastore che dorme sullo sterco di capra...

A questi, che si erano voltati per andarsene, Sem aveva lanciato dietro un sasso, ma non li uccise. Se ne stavano andando oltre il confine della montagna, i tre, con Jabal in mezzo, verso la città, sopra il quale si addensava l'afa dell'adulterio della donna Kittim. Quella notte arrivò senza stelle, perché era la vigilia della caduta delle acque.

Batte sulle lastre di rame Elassar, piange sulla pietra Adma, geme Gerar, colpendosi al petto. Il terrore della morte si è impossessato di loro. Arriva una nuvola, simile a una montagna.

Il vento calpesta e schiaccia le profondità. Ha scelto un albero e lo porta via come fosse un uccello. Il rombo dei tuoni ha galoppato sopra le nuvole. Cade un fulmine.

Si scuotono le mura della lontana Fesrim, e si mette in ginocchio Teruan. Si spacca la testa d'oro di Baad, tremano con terrore frenetico le pianure di Salim.

Dopo aver incatramato l'arca, le porte si chiudono. L'arca di Noè è circondata da persone che piangono, e da venti che aspettano il segnale per spostare la casa della salvezza sui deserti d'acqua.

Dall'arca chiusa provengono le grida di Cam, legato dai fratelli.

Si abbatte il primo abisso di acque. Il custode del cielo ha sciolto le catene di Orione. Il guerriero delle tenebre ha spaccato i legami delle Pleiadi.¹³⁸ I ruscelli cadono a piombo e sommergono. Piangi, Adma! Sul merlo della torre che sta crollando indossa la corona del re...

Precipita il secondo abisso. Piangi, Elassar, e l'ululato tra le sue mura superbe è come l'ululato di una bestia. Che il tuo grido acuto perfori una nuvola, affinché la morte si avvicini più velocemente.

Come nebbia nera si abbatte il terzo abisso, strappando dagli alberi la foglia oscurata. Infuria il vento, rompe un'ala all'uccello. Accorre, come un cinghiale, la tempesta, e la sua corsa ha questo

¹³⁸ I termini russi *uzel Chima* e *uzy Kesil'*, che compaiono nel testo *Kniga Iova*, ovvero il *Libro di Giobbe*, vengono tradotti rispettivamente con *catene di Orione* e *legami delle Pleiadi*. Vedi <http://bible.optina.ru/old:iov:38:31>, consultato l'ultima volta il 10/05/2019.

sensò: urterà un albero, e questo non ci sar  pi , sbatter  contro la montagna, e ci sar  un buco in essa.

Si rovescia la coppa del quarto abisso; scroscia e grida. Per tre volte si   bagnata la figura in argilla del Padre sull'arca di No . Le mani di Imna sono abbandonate sul corpo immobile di Jabal, ma non   Hass che sta chiamando a s ?

Il quinto abisso abbatte le deboli barriere delle nuvole basse. Ecco trentotto pastori nella pianura. Avendo presagito la morte, non son scappati sui monti, via dai loro greggi. Le capre piangono e nuotano nelle acque, i caproni emettono un urlo di morte. I pastori si son coperti il volto con i loro mantelli, poich  un pastore non pu  vedere il lupo uccidere il gregge e non uccidere il lupo.

Muore sulla torre di vedetta Kittim. Si ferma il battito della vita nelle sue vene. E non vede pi  nessuno che, mentre scuote l'oro pallido dei bracciali, Kittim offre la sua carezza al Padre per rimanere in vita.

Il ramaio Baurach, autore dell'idolo di Gerard, si siede su un recipiente di rame e nuota. Con la furbizia del ladro si socchiudono i suoi occhi tondi. Cade il fuoco sulla testa di capelli corti di Baurach, il recipiente di rame diventa la coppa del castigo, cio  della salvezza.

Gli abissi si son calmati sopra le citt  della terra. Sopra l'acqua vola un uccello sopravvissuto. Lamentoso   il grido dell'uccello che ha perso il suo nido. Volava con un'ala spezzata e si posa sull'arca di No , che naviga nelle tenebre. L'uomo mette la mano fuori da una finestra del tetto, agita la sferza e scaccia l'uccello. Questo vola in alto, ma l'acqua lo getta nell'abisso. Lamentoso   il grido dell'uccello che cade nell'abisso.

Il sesto abisso stava precipitando.

Vedi – queste sono le acque. Dopo aver balzato fino a toccare le nuvole, ora si sono raggelate. Sono ferme. Credi alle parole di Jafet: il sole sorger  sotto la superficie dell'acqua. Ora   cos : sopra c'  il cielo, sotto c'  l'acqua. Il cielo   liquido come l'acqua, l'acqua   azzurra come il cielo. E se capovolgiamo sottosopra, l'occhio di Sem non riuscir  a distinguere dove cresceva la spiga della carne e dove   stata forgiata la falce dell'ira.

Ora si tiene conto di questo: per quaranta giorni si son riversate le piogge, per quaranta notti sono giunte le acque. E si   accresciuto il ventre dell'abisso – per centocinquanta giorni. Il nono giorno Jafet ha guardato fuori attraverso una fessura dell'arca e ha visto che tra le onde nuotavano i corpi dei morti. Nuotavano in diverse direzioni, ma facevano largo tutti allo stesso modo, lasciando

libero il passaggio dell'arca, attratta con calma dal vento d'oriente. Jafet scorse il viso pieno di lacrime di Jabal tra quelli che nuotavano e lo disse a Sem. Sem guardò fuori, ma quello già non c'era più.

Un giorno del settimo mese ebbe fine la caduta delle acque. Si levò la quiete, che rimase fino al decimo mese. Una volta spuntò il sole, ma non vide per chi avrebbe potuto emanare luce e calore. Afflitto, se ne andò nell'acqua. Il decimo giorno dell'undicesimo mese spuntò la testa bagnata di Gaukad. Il quindicesimo giorno Noè aprì una finestra sul tetto e fece uscire un'aquila nel cielo azzurro e purificato. L'aquila tornò, portando la mano di qualcuno. Poi Noè fece uscire una colomba, ma quest'ultima tornò indietro, poiché era notte, ed era carica di terrore. Il ventesimo giorno la colomba portò una fogliolina di ulivo sul tetto bruciato dell'arca. Il ventinovesimo giorno non fece ritorno. Ma le acque continuavano a ondeggiare, e cigolavano i piloni dell'arca, agitati dalla corrente delle acque.

La notte è buia. Noè sonnecchia. Il freddo calma l'increspatura dell'acqua. La luna rossa ha tirato fuori la punta della falce dall'abisso.

Jafet ha acceso il fuoco. Il legno secco brucia, colano giù gocce di catrame. Sem appuntisce il coltello sulla pietra. Cam guarda all'angolo. Nell'angolo buio la leonessa dorme con il cervo, la bufala nutre i suoi cuccioli. Poi iniziò a cantare:

“Ascoltate la mia canzone sull'inizio. C'era il vuoto, e tutto era uguale. Il silenzio proteggeva ogni cosa. Il Padre disse alla terra e al sole di iniziare a esistere. Sole e terra, *selah!*¹³⁹ Essa venne generata dal sole e generò un melo, un uomo e un'ape. *Selah!* Il sole stava alla destra del Padre, e la terra alla sua sinistra”...

La fiaccola manda rivoletti di fumo in alto. Jafet attacca una toppa al mantello di Madai. La pelle sorda del timpano fa eco alla voce di Cam:

“Gli spazi vuoti e profondi sono stati riempiti dalle acque delle tenebre. In esse si rispecchiava il Padre. Colui che si rispecchiò, arrivò senza farsi udire. Quando fu vicino, strappò la terra dalla mano del Padre e saltò negli spazi vuoti e profondi. E diventò allora il secondo Padre della terra. La terra gli diede la vita”...

Il viso di Noè è teso per il terrore. La leonessa si lecca i baffi. Il vento colpisce l'arca con l'ala.

¹³⁹ *Selah*, parola che compare settantaquattro volte nella Bibbia ebraica, è un termine tecnico riguardante la musica che consiste in una pausa dal canto allo scopo di far meditare in silenzio. Da <https://en.wikipedia.org/wiki/Selah>, consultato l'ultima volta il 09/05/2019.

“Allora il cuore del Padre ebbe un sussulto. Con la mano destra lanciò furiosamente il sole dietro al ladro. Gli diede la forza della pietra per volare, il calore del fuoco per bruciare. Il sole oscillò come un arco in fiamme, mentre era in volo. E allora caddero tutti i globi, appesi negli spazi vuoti e profondi, cominciarono a vorticare, per vedere l’ira del sole bruciare il peccato della terra. Poiché la terra era stata generata da un ladro e aveva generato il Leviatano”...

Noè insorge con ira contro il figlio, ma supera le parole di Noè il rombo minaccioso del timpano:

“...correva e portava con sé la terra. E il sole faceva avvicinare l’ira, accorciando le strade e restringendo gli anelli. Correvano, e sopra di essi correvano gli spazi vuoti e profondi. L’eternità: ecco il nome degli spazi vuoti e profondi che correvano sopra le nostre teste. Il quei giorni il ladro disse: morirai pensando al sole. Io metto fine ai giorni della terra. L’orecchio del Padre non si impietosirà al grido delle persone. Anche se anch’io morirò con te”...

Ecco le parole dell’infuriato Noè:

- Oppure pensi che io abbia venerato il ladro nella notte piacevole della promessa?...

Il flagello cinse la schiena nuda di Cam. Jafet andò sul letto della moglie. Sem provò la lama del coltello sui capelli. Cam chiese a Noè:

- Chi ha dato forza alla tua mente di colpirmi?

Le parole di Noè:

- La longevità della mia vita.

Le parole di Cam:

- La longevità dà alla persona l’acutezza dell’intelletto, non l’intelletto stesso!.

Le parole di Noè:

- Il tuo valore è quello di un cane!..

...La notte è buia. La luna se ne va nell’acqua. Cento occhi vedono tanto quanto vede un cieco. Quella notte si levò il fuoco e iniziò a divorare il tetto. Il bue dalle sette corna saltò in acqua e voleva nuotare, ma le corna lo trascinarono nell’abisso. Se ne andò a Teruan, oramai morto, poiché l’arca navigava sopra Teruan. Ecco perché a Salim non è rimasta la prole del bue dalle sette corna...

Il fuoco scendeva sulle pareti, ma si levò una nuvola e salvò la vita a tutta la famiglia di Noè. Questi circondarono le pietre bagnate del focolare spento e tremavano. Il freddo di quelle notti era feroce. All'alba, quando il sole aveva asciugato tutto, Sem si avvicinò a Cam e gli disse all'orecchio:

- Quando dai fuoco alla casa, metti il fuoco non sotto il tetto, ma alle basi delle pareti. Chi lo accende deve spalancare gli occhi e urlare più di tutti...

Si avvicinava la fine del secondo mese, l'arca diventò immobile. La capra cominciò a belare, il leone si leccò gli artigli, il serpente strisciò sulla parete bruciata.

Noè uscì sulla superficie piana di una montagna che si trovava sotto l'arca. E uscì a piedi chi sapeva camminare, uscì con le ali chi sapeva volare, uscì strisciando chi sapeva strisciare. Si alzarono tutti sull'orlo del monte e guardavano in basso.

Si erano formati molti laghi sulla terra. Erano putrefatti, ma riflettevano una lucentezza azzurrina, e tutta la terra era grigia e verde, perché si era spopolata. I tronchi, coperti d'alghie, erano senza foglie. Il puzzo, come quello di un morto, correva sopra i colli, salì e pizzicò le narici delle persone. Le persone guardavano e vedevano.

Il pastore Noè portò sulla pietra più vicina la vittima gradita al Padre. Aveva gli occhi di un ladro, quando appiccava il fuoco. Le sostanze aromatiche mandarono fumo, ma il fetore della terra allontanò questo profumo dalle narici del Padre.

Poi arrivarono nuovi giorni.

Una nuvola si dirada sopra la pianura, le volute di fumo del sacrificio vengono frammentate dal vento in cerchi azzurri.

Toglie la pelle all'ariete Sem. Guarda in cielo Noè, cercando di indovinare. Jafet se ne va alla valle a mettere le trappole. Scoppiano le gemme del mandorlo. L'uccello dal becco adunco fa dei piccoli giri sopra la conca dove la bestia si sta imputridendo. Sta seduto nella sua tenda l'impotente Cam.

Si avvicina a Noè Sem, secondogenito di Noè.

- Sono Sem. Dammi la benedizione.

Noè:

- Ma è Jafet il mio primogenito.

Le parole, che escono dalla bocca tremante di Sem, sono:

- Io ti ho dato il pane e te lo darò fino alla fine dei giorni. Il mio collo è la tua casa. La mia mano è un bastone per te. Jafet! Chi cerca il sostegno di una nuvola e cammina sul ciglio del burrone? Lui se ne va, e ogni arbusto nelle paludi della terra di Avila è per lui una tenda del Padre. Il mio cuore invece è come un recipiente. Bevi da esso il riposo con pienezza!

Noè:

- Ma Cam... Lui è il mio ultimogenito.

Sem:

- Cam, lo sterile Cam!

Allora Noè mise la mano del Padre sulla testa di Sem e fece scendere la durezza del ferro sul suo seme. Mentre dava la benedizione, piangeva, poiché aveva dubitato di Jafet. Dalla polvere, su cui era disteso, si sollevò Sem benedetto e iniziò a cantare. I suoni della sua voce erano brevi e rauchi:

“Rallegrati, Lud, la tua saggezza è ovunque. Gioisci, Elam, vedo la vastità del tuo bestiame. Ridi, Assur, ti siederai sulle mura delle città terrestri. Jafet, che c'è? Verrai fatto a pezzi dall'ala dell'uccello dei secoli. Sei una nuvola. Passeremo attraverso i tuoi figli come passiamo attraverso il fumo! Cam, chi sei tu per rallegrare il cuore, o forse non c'è proprio cuore in me? Una bestia divorerà la tua prole. Jafet solleverà la spada, e Sem l'abbasserà sul collo di Cam... Io, Sem, corro come una sfera. Calpesto tutto, e tutto viene dietro di me. Scarifico la terra affinché possa dare il suo frutto. Io sono Sem benedetto!..”

Arrivò la sera. Le ossa sulla pietra sacrificale si sono carbonizzate. Le donne sono andate al campo, ma non Kesil: sta per partorire. Quando un altro giorno spuntò il sole, Kesil diede alla luce un bambino. Cam andò verso la pianura e vide l'arcobaleno, che aveva contornato il cielo. Cam capì e chiamò quel giorno il Giorno del Pentimento.

Canaan era il primogenito.

La terra dimenticò.

Di nuovo fioriscono i gigli a Salim e sollevano gli stessi calici di una volta sui lunghi steli. L'ape ronza e si posa sul calice e porta ancora più lontano il ronzio basso delle sue ali. Le foglie

polverose di ulivo attendono l'acqua per lavarsi. Ma dovunque arrivi lo sguardo, distese di lappola percorrono il prato soleggiato.

Fiorisce la terra che ha dimenticato, e la polvere dorata della fioritura è sospesa in aria fino alle nuvole, che pendono minacciosamente in basso. Alla zappa spetta scarificare la terra, alla trappola attendere la preda, alla pala vangare intorno alla vigna.

Lontano, ai piedi della montagna, dove i venti trascorrono la notte, marcisce l'arca di Noè. Le lappole crescono sui sporchi resti di Elassar e oscillano sotto il solleone sul muro eroso di Gerar.

E già maturava il frutto dell'autunno, che si preparava a cadere. Il forte caldo intorpidì il cielo. Dei soli rotondi stanno sulla sabbia all'ombra trasparente della vigna di Cam. Cam attraversa il sentiero coperto d'erba. Qui è bello lasciar riposare il corpo affaticato e assaporare il sonno di mezzogiorno.

In quel momento Cam vide qualcosa di terribile per la sua mente. Sollevò il pugno sopra la testa e corse dai fratelli, che stavano mangiando il formaggio di pecora all'ombra di un grande albero. Li chiamò, e loro accorsero, e Cam saltava e puntava il dito del disonore contro il padre, che giaceva in un amoroso languore sotto un arbusto d'uva con sua moglie, Kesil. Ma i fratelli si coprirono i volti e non videro niente.

Quando Noè, a cui l'ira aveva ridato le forze, vide che il suo gesto era stato scoperto, un grido ruppe le sue labbra. Maledisse Cam, come il Padre fece con la terra nei giorni dell'arca:

“Copriti il viso con la fuliggine del focolaio e vattene dalle mie tende. Due disgrazie, due leoni ti sbarreranno il passo, ma tu aspetta che ne arrivino quattro. E quando ne arriveranno quattro aspettane il doppio. Canaan è il servo di Tiras e Madai, di Lud e Asur. In Canaan, nella tua prole berrai il disonore, come il vino amaro di un autunno sfortunato. E lo struzzo che salta, uccello del deserto giallo, deporrà le uova nella sabbia bollente sulla soglia della tua tenda... Che il rampollo di Canaan si dimentichi del fuoco!

Allora Sem benedetto sorresse Noè, che stava cadendo. Spazzò via la sabbia dalla spalla nuda del padre e chiese a voce alta a Cam, che si era messo a piangere non molto lontano:

- Dov'è il tuo timpano, ultimogenito di Noè?

La pioggia del maltempo precedente all'inverno cade miseramente. La nebbia del mese finale cade sui prati. In essa è rimasta appesa la luna pallida, che sembra una lepore morta. Dorme Noè e con lui quelli che sono nelle sue tende. Cam se ne va dalle tende del padre. Il vento arriva da settentrione.

Trema il piccolo Canaan nel sacco di pelle sul dorso dell'asino. Kesil di Adma cerca invano lo sguardo del marito. I venti fanno aderire il mantello bagnato al suo corpo caldo. Cam se ne va oltre il recinto dei greggi. Il suo viso è diventato aguzzo, mentre la schiena si è incurvata, come il bilanciante su cui si porta l'acqua quando la fonte è lontana. La pietra si rafforza sotto i piedi.

Cam si è fermato davanti alla facciata della montagna, attorno cui corrono i venti furiosi. L'ultima canzone di Cam è:

“Il freddo fa addormentare Canaan. Il vento mi spinge sulla schiena. Quando arriverò al posto in cui non ci sarà il maltempo, poserò quattro pietre, accenderò il fuoco. Asciugherò la schiena bagnata e lancerò una pietra nella direzione in cui ci sono i tuoi greggi. Che tu possa ricordarti, sentendo il suo fischio, dei giorni tristi dell'arca.

“I giorni scorrono come le pecore verso l'abbeveratoio. Chi fermerà, coraggiosamente, il corso delle acque primaverili e la pressione del gregge sfrenato! Vedrò i pronipoti di Canaan. Quando me ne andrò, dirò loro: è Lui che sta lassù che vi ha ordinato di dimenticarvi del focolare e di gridare come le bestie della notte. È Lui”...

Cammina il bestiame, un terzo del bestiame di Noè. Le loro teste sono rivolte al di là delle cime delle montagne bagnate dalla pioggia, dove se ne va il sole per la notte e l'uccello nelle piogge d'inverno.

Là, sotto il sole caldo di mezzogiorno, s'incupirà il viso di Cam.

Luglio 1922.

«Деревянная королева»

I

И уж, конечно, ничего тут странного нет.

...Однажды ночью сидел Владимир Николаевич у столика и отдыхал за шахматами, — повторял Стаунтоновский, раннего периода, королевский гамбит, помещенный ещё в «Palamede» в семидесятых годах. На столе позади него пел медную песенку хромой хозяйкин самовар.

...Тогда за окном пушил декабрь, и белые снежные кони хорошей метели вихрем несли по городу синие санки сна. И как будто кто-то играл на флейте, и как будто флейта играла сама.

Эта партия, игранная в Авиньоне лет семьдесят тому назад, была, пожалуй, самой изящной у Стаунтона. Атака белых коней, после внезапного нападения черного ферзя, была размеренной, четкой и строгой, как математическая формула, где знаки так хорошо и магически вплетаются друг в друга... А самая середина партии, когда черные выправляют свои смятые пешки, и черная ладья, пользуясь замешательством неприятельского фланга, выплывает с b8 на b4 и уводит белого коня, — это ли не вагнеровский лейт-мотив, гневная медь которого расцветает над головой нечаянным звенящим цветком?

Самовар вздыхал вычищенной своей грудью, стихал на минутку крошечную, и снова потом начинала сонно ползать по комнатке тихая песенка самоварной тоски. В таком перерыве Владимир Николаевич передвинул ладью и задумался над ферзем. Стаунтон уходил здесь в неясные дебри конной атаки и с непонятнодиким упорством бил конем с f3 на d4, а потом развивал прекрасную комбинацию на левом своем фланге... Владимир Николаевич ясно представлял себе другой вариант, — а именно: королева идет с d5 на a5, как играл впоследствии Андерсен против Кизерицкого, а оттуда, — правда, рискуя катастрофой, — можно было прямо поставить угрозу белому центру... Владимир Николаевич решил разработать этот вариант и, закурив папиросу, устремил глаза за окно.

...Там неслышный лёг ветровых копыт пронизывал синюю ледяную глубь ночи. И уносились... и набегали новые. И весь тот снежный поток, как флейта был. И чьи-то сильные руки высоко вознесли над домами смеющуюся флейту.

Мурлыкал самовар. Внимание Владимира Николаевича было поглощено белой пешкой, — в ней лежала причина некоторых осложнений и туманности, но уже и теперь становилось ясным: с4 било f7, а g7 черных...

Вот тут-то Владимир Николаевич пристальней взгляделся в ночь, и тогда совсем неожиданно услышал тихий, влекущий в равнины декабря, свист метельной флейты... И случилось так, что напомнило это ему письма тоненькой девочки Марианночки, которая однажды под лиловой шалью пробежала ласково мимо его сердца. Владимир Николаевич ясно представил себе и глаза и губы ее, которые были вот: для снежной флейты губы.

Но тотчас же вслед за милыми губками Марианночки припомнился почему-то хитроумнейший вариант Морфи, и тогда Извеков одной насмешливой улыбкой смел всю эту розовую муть с души, как лужу метлой с тротуара, а Стаунтон, по совету непогрешимого Морфи, прыгнул конем вперед и угрожающе поднялся на дыбы перед самым носом ошарашенного короля.

И снова запела флейта. И, покоряясь чему-то, что было прежде, а теперь ушло, Владимир Николаевич подошел к окну и стал глядеть.

...Между домами, — в их низкие и вторые этажи поглядывали заплывшие метелью желтые глаза, — неслись, разбрызгивая синие хлопья по сторонам, снежные табуны, увлекая в ледяную муть беззвездной ночи весело кувыркающихся слонов... Потом проскользнула, кружась неистово, узорчатая вся, как клубок снежного кружева, башня под самым окном. И опять кто-то ласковый той метели призывно заломил руки над головой, устремляя бескровные губы к флейте.

Стало вдруг необычайно хорошо, — не потому ли вдруг оборвалось медное курлыканье самовара?.. И взамен его тихий женский смешок пробежал по комнате и вбежал в ухо Владимира Николаевича и спрятался у него в сердце самом. Ясно, что он обернулся, — но то, что он увидел, было не совсем ясно. Он заметил на шахматной доске, сразу разросшейся во всю...

...а флейта все пела. Пробежала по ней белая рука вперед, убежала назад...

Он ясно видел, как, перебежав на b7, передать хотела черная королева крошечную записку беленькую чужому офицеру, покуда за резной башенкой наклонял лысую, в короне, голову над рыженькой толстушкой, которых всегда глупых и одинаковых на шахматной доске

восемь, черный король... Еще видел: закаменело все, и за шелковыми складками королевина платья спряталась испуганно тонкая ее точеная рука, — сдвинулось, вздрогнуло и замерло так.

...Взмахом белых рук за окном оборвалась флейта, и снова, унылый и одинокий, затянул прерванную песню самовар. Только две вещи и запомнил тогда Владимир Николаевич, — первое: глаза королевы своей — быстрые, глаза метели снежной, в которой столько всегда разных равно близких сердцу глаз, но среди них — одна... И второе: фигуры на доске оказались расставленными именно... Ну — да! Это было необычайно, — Владимир Николаевич ясно своими глазами видел то, о чем не мечтал Стейниц и не смел предполагать Андерсен. Это было неожиданней, о чем не мечтал Стейниц, и не смел предполагать Андерсен. Это было неожиданней, чем самый искрящийся, внезапный, как водопад, гамбит Эванса. То было неизвестное еще положение в игре офицера и королевы... Легко было запомнить: королева на d2, и с нею рядом, на одном ходе коня чужой офицер... Неразрывные, как якорная цепь, пешки бегут в атаку, — погибают две, — но через три лишь хода тот же офицер, который прятал любовную записку, шахует растерявшемуся королю.

И опять... и опять флейты.

...Испуганным взглядом ощущал Извеков и эти четыре крупно разросшихся стены, и этот разбухший в медную гору самовар. Да, — он, Владимир Николаевич Извеков стоял на шахматном поле, на ход коня от королевы, и та протягивала ему сложенную вчетверо записку. Он взял, и, когда улеглась записка та поудобнее в треугольном, с отворотом, кармане бархатного его камзола, стала ясно осознанной вдруг вся внезапность эта и странность этой внезапности... Это привело его в неопикуемый страх и даже ужас. Да, — он стал черным левофланговым офицером деревянного короля.

Еще мгновение и сознание начало стынуть в нем, и лакированным деревом в уровень с глазами блеснула собственная рука его, приподымающая шляпу, вытереть испарину испуга. Последним бешеным скачком каменеющей волн вырвались у него четыре деревянных слова:

— Нет, не хочу... нет...

...Где то совсем недалеко пропела громкая, как охотничья труба, метельная флейта. Потом что-то передвинулось, острый угол стал тупым и исчез, уничтожился на одной прямой в ничто; качнулось, как цветок, и снова треугольником стал нечаянный квадрат тот.

Самовар вернулся откуда-то и стал слышным, а сам Извеков оказался сидящим в трехногом, — а четвертою хозяйкино ведро, — кресле и как будто задремавшим даже. Он

протер глаза, припомнил и захотел улыбнуться витиевато проскользнувшему сну, но... на доске было то самое, из миллиарда единственное положение, когда черный ферзь и чужой слон во имя блистательнейшего из концов взаимно связываются тонкими нитями шахматного узора.

Метель стихала, — тикали на стенке часики. Остекленевшим, замороженным глазом глядел в спину Владимира Николаевича фонарь с улицы сквозь затянутое легким ледяным кружевцем стекло. Метель стихала, но Реомюр все ниже прятался в свой стеклянный шарик. А на полу, возле самых ног упавшая оттуда белела записка. В ней стояли простые слова:

«Милый, хочу всегда с вами быть. Рвусь к твоему сердцу вся из моей деревянной клетки. Один вы у меня, — все они, кругом, деревянные...»

II

Борис Викторович Коломницкий был, во-первых, музыкантом и еще, во-первых, страстным любителем всяких шахматных несообразностей, а во-вторых, человеком веселым, но немножко с язычком. В третьих, он был, по долгу дружбы, единственным поверенным немногочисленных тайн Извекова.

Было уже поздно. Борис Викторович лежал в кровати и держал прямо перед носом своим обрывок газеты, в ожидании, покуда вчерашний суп разогреется на керосинке.

Было поздно, — было двенадцать уже. Сквозь оловянное стекло непреодолимой дремоты старался Коломницкий проникнуть в таинственный смысл некоторых слов, стоящих на газетном том клочке: — ...экстра файн... — 22.10... фупли — гуд — фер... — 19.10... Конечно, — если бы не дремота эта самая, — несомненно сразу же сумел бы он понять, что это просто-напросто сводка хлопковых цен на июль. Но дремота удаляла слова и цифры эти далеко-далеко, — верст на двадцать, и там разбухали они с непостижимой быстротой и наглостью и неслись навстречу смыкающимся глазам, жуткие, как апокалиптические звери ... А спать было еще рано.

Тут-то и вошел Владимир Николаевич. Трусливо сжались тогда в гневном кулаке апокалиптические звери и полетели в темный, пыльный угол, где желто-красный живот свой выпятила виолончель.

— Я, Борьк, к тебе, вот.

— Эге, — понимаю!..

— Да нет, деньги у меня самого есть: получил сегодня... Тут вот книжку, про которую говорил ты, принес.

— Купил?

— Купил...

— А когда покупал, — Коломницкий сурово поглядел на Извекова, но за серьезным взглядом его прыгали весело зеленые и желтые черти безудержного смеха, — не спрашивал ли тебя приказчик: не задумал ли, мол, Коломницкий жениться?

Извеков руками всплеснул:

— Вот что значит одного тебя оставлять! Да ты, отец, совсем у меня свихнулся!

Тот сел на кровать и протер кулаками глаза:

— Угу, непотребно это, братик, одному быть! Каждый молодой, правильно сделанный, мужчина обязан, понимаешь ли, когда-нибудь полюбить. Что есть человек без любви? — Коломницкий отвел указательный перст правой руки в сторону, — двуногий амфибий или глупая зеленая канитель!

Коломницкий опустил выпуклые свои смеющиеся глаза вниз и тяжело вздохнул:

— Ты вот что, Володьк, — ты знаешь, какой слух ребята в консерватории про меня пустили? Будто я с виолончелью живу!.. Понял?.. А тут девушка, умная, очень даже ничего себе, но ты не беспокойся: до свадьбы не познакомлю!

Владимир Николаевич заугрюмился:

— Шахматы-то где у тебя, тарантул?

— А в углу. Столик вчера опрокинула хозяйка, — разбежались, как тараканы... Да ты поищи, коли нужда есть!

Владимир Николаевич заползал по полу, пошарил рукой под кушеткой, вытащил коня и стал расставлять фигуры.

— Борьк, а у тебя пешки одной нет!

— Белой?

— Белой.

— В постоянном и безвестном отсутствии. Не огорчайся, замени пробкой... пустяки!

...Владимир Николаевич начал с Муциевского гамбита, выбросил слона, отдал коня и рокирнул... Коломницкий помычал, взглядом проскользнул зорко по доске и вот подошел и стал глядеть.

Извеков вел умело. Трах, — ладья перескочила за борт, прямо в лужу вчера разлитого чая. Раз-два-три — белые слоны топчут правый фланг черных, король с d7 снова возвращается на d8 и опять выплясывает там свой убогий королевский танец на месте под кривыми кнутами враждебных коней... Еще два хода, — e4 бьет g5, — слон растаптывает пешку на пути ферзя, и вот...

...Коломницкий был изумлен. Больше того, — он был подавлен и как-то по-собачьи ласково заглянул Извекову в глаза.

— Слушай! Да ведь это же невозможно! Постой, слон бьет g5... Да ведь пойми ты, сам Филидор взлетел тут на воздух со чадами и домочадцами своими!.. Ведь это все равно, что Венеру найти... паровоз изобрести! — Коломницкий был вне себя, восхищение как-то придавило его.

...Тихая начинала журчать метель. И еще разливалась за окнами луна, безбрежно и широко, — и как острова в ледяном лунном половодьи торчали в черном небе метельные облака.

— Вот что, Извеков! Я четыре месяца добивался вот этой самой штуки... Я давно уж сумел почувствовать, что должно же и в шахматах быть такое положение, когда женщина изменяет только ради самой измены, в которой тайна и разная там магия... — Да нет, — ты что, сон что ли видел такой?.. Я не к тому, что ты неспособен...

Можно было бы рассказать все ясно и просто, утаив про записку, — и ничего бы не вышло тогда, но Владимир Николаевич предпочел показать ту самую записку, из другого плана, из деревянной шахматной клетки. Он протянул ему руку свою открыто, как протягивал сердце свое в течение трех этих лет, и тот взял.

Тут побледнел весь Коломницкий, и задрожала у него нижняя почему-то губа, и спросил досадно и враждебно усмехнувшись:

— Ты с ней давно знаком?

— С кем?

— С Анкой...

— Кто?

— Ты.

— Я? — Да я совсем никакой Анки и не знаю... Ты с чего нахмурился-то?

Тот перебил Извекова, и в голосе вздрогнуло нехорошо:

— Ты-то? Ты, конечно, ни причем тут! Все дело в том..., что записку эту писала невеста моя... вот про которую я тебе расписывал давеча... Здесь и буквы ее внизу: А. и Р. и почерк ее. Для меня, конечно, признаюсь...

Извеков тупо глядел на приятеля, плохо понимая происходившее, но что-то уже начинало его раздражать. Потом догадался, откуда Коломницкий, молча, жевал папиросу, и принялся горячо, но сбивчиво, рассказывать и объяснять приятелю и про то, как нежно пела флейта во вчерашней метели, и как записку уронила ему черная из шахматных полей королева, и еще, и еще... Говорил искренно, не скрывая ни слова, говорил целых полчаса. Но, когда в котелке над керосинкой забурлило вдруг, Коломницкий встал, обрывая Владимир-Николаевичевой речи нестройный поток, зевнул и сказал:

— Я тебе не верю, потому что не верю ни в чох, ни в сон, ни в рыбий глаз, ни в какие чудеса не верю. И потом вот что: сейчас я буду есть, а потом я спать лягу.

Владимир Николаевич был очень хороший человек. Он постоял еще минутку для приличия, надел потом шубу, вздохнул поглубже и вышел, не прощаясь, вон.

...В переулке со снежных гор, будто на весело хрустящих полозьях, соскальзывали лунные тени вниз. Было очень холодно и приятно. Выходило, будто луна пробивалась сквозь шубу и плотно прилегала к спине, — это и было приятно. А хорошо это и в самом деле, когда скрипят шаги, и собственная тень, как верная собака, бежит впереди, головой нащупывая каждый в дороге загиб.

Но плохо думает человек, возвращаясь после обидной неприятности в свое пустое, неприятное логово.

III

...Еще несколько раз, в вечерах, метелью отмеченных, видел Владимир Николаевич, как оживала черная его королева, которая на той записке маленькой поставила нежные свои две буквы: А. и Р. И всякий раз, когда ходом коня становился он на шахматную рядом с нею, успевал он только поймать один лишь быстрый и милый королевин взгляд. И если начинало сердце хотеть вдруг, чтоб не прерывалось деревянное счастье это, делался молниейно треугольником неведомый квадрат, и распрямлялся некий угол в ничто: так 180 и так 180, — выпадало тайное из цепи звено. И просыпался он из сна в наш, этот план, и барахтался в тяжелой, осадочной луже неутоленной минуты...

И вот пришла тогда к Владимиру Николаевичу любовь, большая, как семибашенный дом. И стала душа его жить в этом доме, и было ей очень хорошо.

...Днями бегал по урокам. Вечерами же иногда, когда метель пушила, клал на раскрытую ладонь деревянную королеву свою и ждал, не расцветет ли дерево это под его горячими глазами цветами алыми и голубыми, подобно Ааронову жезлу.

Но молчало все, и не просыпалась в точеных изгибах вещи деревянная душа ее. И проходил вечер, и записывался в душе чернильным лиловым карандашом: «пустота».

С Коломницким порвалось все само собой, ибо не верил тот ни в чох, ни в рыбий глаз, а Извеков, выходило, верил. Из десятых уст слышно было, что тот пьет, из восьмых — разрабатывает какое-то невероятное шахматное положение, из четвертых — что сильно изменился и еще более порыжел... Потом все стихло.

...Покуда распевал то глуховатым баритоном, то тоненьким медным тенорком самовар на столе, — садился у окна и, когда начинали разбрызгивать снежную муть тени белых, в синих яблоках, коней метельных, а флейта — петь, — все ждал, не сузится ли вдруг из ничего тот тайный, радости пресветлой угол, который Коломницкий чоху и рыбьему глазу прировнял, — не вплетется ли в цепь знакомых и адски надоевших колец королевского пробуждения звено.

А в один из вечеров случилось большое горе: королева пропала. Ее не стало нигде — ни здесь, ни там, ни вот там... В тот вечер бомбой вылетел Владимир Николаевич на кухню, — там жила толстая ведьма Наталья:

— Она выходила отсюда, — ты видела? — допрашивал Владимир Николаевич, мотая головой.

Ведьма сделала прыжок от корыта назад и сумела только промычать:

— Да не-ет... никто вроде не выходил... не-ет...

Владимир Николаевич знал, как нужно с ведьмами разговаривать:

— Был у меня кто-нибудь? — чуть руку ей не вывихнул Извеков.

— Тот... рыжий, товарищ твой, был... Потом ушел, письмо тебе к стенке наколол...

— Высокий?

— Да с тебя...

— Рыжий?

— Рыжий, кажись...

Ну, конечно, это был Коломницкпй, — он и унес крошечный кусочек дерева, где спала королевина душа. Извеков застонал тут, ему одному знакомым манером застонал и, согнувшись, бросился в комнату искать записку. Она висела на стенке, приколотая к обоям ржавым пером:

«Ухожу вместе с ней. Все выясню. Ты меня не разыскивай, — не вводи меня во искушение».

Владимир Николаевич четыре раза схватывался за голову, потом два раза за одну мысль дурную, которую родило отчаянье, потом за шапку и вылетел на улицу прямо с Натальниной скоростью, оставляя за собой дребезжание опрокинутого стакана, тихое стенанье ведьмы Натальи, схватившейся за бок, где остался вероятно, добрый след Извековского локтя, и неистовый визг ущемленного дверью за хвост кота.

...Влажные, слегка оттепельные сумерки действовали на него благотворно, но медленно. Часа полтора он рассеянно скользил по переулкам, погруженный в разрешение какой-то задачи — шахматной, конечно, — смысл которой стал неожиданно смыслом всего его пребывания на земле. Эта убийственная растерянность не покидала его вплоть до той минуты, пока он не приподнял с извинением фуражку, столкнувшись с фонарным столбом. Заметив это, он рассмеялся, и направился домой.

...А ночь подкрадывалась, как черная кошка, невидная, неслышная, но близкая совсем. По небу разлеглись низкие облака, — пушистые и серые, словно хвосты. На душе скребли кошки... У самого подъезда тощая черная кошка перебежала дорогу. Владимир Николаевич

плюнул ей вдогонку, — снова такая гнусная тоска заполнила душу, захотелось вцепиться зубами в трамвайный буфер и так забыть, чтобы мостовая треснула...

Вошел в комнату, — Наталья неодобрительно и обидчиво выпятила губу, — бросился в кровать, схватил зубами подушку и прогрыз новую наволочку насквозь. Горю его не было предела и конца тоске, а зубы были острые.

IV

И вот началось.

Добрая старушка, которая в письмах своих ласкала дорогого и единственного Володеньку своего старческими нескладными, словами, как умела, не узнала бы его теперь: осунулось лицо, а нос заострился, а глаза стали подозрительными и острыми, и внезапное обилие волос на подбородке придало взгляду его какой-то серый, мутный налет.

...Вечера напролет ходил по сумеркам, искал, заглядывал в темные лица встречающих, подглядывал в чужие окна, — искал. Пробовали его метельные метлы замести, — не замели... Пробовали морозы сердце ему заморозить, — билось оно попрежнему: нехорошо и беспокойно.

Еще совсем недавно, четыре дня назад, встретил Владимир Николаевич ту, кого искал. Тогда была метель, — клубилась она в переулке белыми столбами призрачными, и шли столбы очередями, и в каждом столбе — глаза, выбирай!.. Она прошла мимо, а с нею два офицера, шли по сторонам. Один, конечно, Коломницкий. Другой — тот шахматный, кургузый, который потерялся у Извекова недели еще три назад.

Прижавшись к стене, проводил непонимающими глазами, услышал, как звонкие хлопья смеха королевина прорезали над его сердцем и растаяли в крутящемся столбе, увидел деревянное лицо, одно из двух. Они шли, какплыли... и вот далекая из серых зыбящихся круч, упершихся в дрожащие крыши, донеслась поющая флейта ему тогда...

Когда услышал, — бросился вдогонку, но колючий вал мокрых, исступленно сомкнувшихся в призрачную лавину хлопьев залепил глаза и уши... Очнулся и опять бросился вперед, но синее и визжащее встало перед самыми его глазами на дыбы, простирая высоко над домами снежные когтистые лапы.

...Потом ее видел на улице. У магазинной витрины, черным силуэтом отразась в зеркальном стекле, поправляла шляпу.

...Потом однажды, поздно, она переходила улицу, близкая до боли, под руку с высоким стариком, а смех ее был как фарфоровый шарик на веселом серебре.

Тогда, попугивали морозной хрипотцой запоздавших старушек автомобили на перекрестках и, вечернего города дикие рожи, шли трамваи. И потом: именно каким-то пятидесяти разнокалиберным людям потребовалось именно в этом трамвае именно в этот час ехать в одну и ту-же сторону... Тогда зажигались на большой улице среди клубящихся метельных валов — дуговых фонарей молочные шары. И было понятно всем и каждому в тот вечер, что много их валялось по большой метельной улице, кусков исстрадавшихся сердец.

V

В тот именно вечер пришла Извекову новая мысль. Он прекрасно представил себе шахматную расстановку, когда королева, играя с одним офицером, не замечает другого, тоже на ходе коня. Стало понятно тут, что этот другой и есть Коломницкий.

...Извеков бежал домой, опрокидывая попутно тени, прохожих испуганные улыбки и встречного ветра живые валы, — размахивал руками... Уже в самых дверях остановился, вытер лоб рукавом, — вбежал, присел к шахматам.

Вместо ферзя в клетку королевы встала притертая графина пробка, вместо Коломницкого — огарок стеариновой свечи... Фигуры встали по местам. Извеков криво усмехнулся кому-то, невидно стоявшему у стены, подмигнул и кашлянул... Игра началась.

...Опять метелило в переулке. Заволокло окно морозной занавеской с той стороны, но смахивалась она сразу вся, когда задевала ее черная шерсть проносящихся в метели теней. Казалось: вот есть переулок глухой, а в переулке домик крошечка в два окошечка, а в домике сидит исключенный человек, и у души его лапа перебита, а глаза — метельные глаза...

...Мело острозернистым снегом по переулку, как тогда, в начале самом.

Белый конь вышел вперед. Стеариновый огарок отступил и поставил грузный шах притертой стеклянной пробке, а8 сделало набег на а5, заворочались белые слоны... Королева уводит пешку с доски прочь. Конь убивает вторую пешку, и потом еще одну, и еще...

Владимир Николаевич не выдержал, — тому, кто невидно стоял у стенки, прислонясь к дверному косяку, прошипел он тихо:

.. — Послушайте, — это не игра, а бойня... Вы попримечней!

...Стало очевидным: нужно было изолировать королеву и удалить метким ударом Коломницкого с доски.

Он вспотел и сбросил шубу с плеч, а голова работала все отчетливей. Если прислушаться, можно было услышать, у кого ухо хорошо устроено, как цепляются хитрыми зубцами несуществующие шестеренки друг за друга и двигают большое тяжелое колесо.

А флейта начинала петь... А метель не стихала. И как будто плясал кто-то, вздымая поющей флейты свист в дымное небо. И как будто флейта плясала сама..

Владимир Николаевич напрягся до последнего предела, — что-то лопнуть... двадцать два... двадцать три... И вот на двадцать четвертом ходу белый конь безошибочно шагнул на d6, а двадцать пятым ходом черная шахматная ладья, как Харонова ладья, угрожая спрятавшемуся королю, опрокинула Коломницкого и... Все было кончено, трехходный мат был ясен, — филидоровский примтив!..

...Вяло склонился в кресле, и сразу стала душа его, как пустая, зеленая бутылка, а глаза сомкнулись, будто сел кто-нибудь, стопудовый, на веки ему. Потом сдвинулись два разных пути, и стал угол... а возле самого уха заколебался близкой флейты свист. Потом все переместилось, и в этом сдвиге обозначился только-что выявленный оттуда женский тихий смешок...

...Повернулся так, что скрипнули все три кресловых ноги, раскрыл все свои сто тысяч пар глаз, и нестерпимой сладости тоска перехода туда, к королеве, облила его холодным потом с головы до ног.

Она стояла возле, в черном вся — столько раз желанная, выигранная, но не достигнутая никогда, метельные глаза остановив на нем. Кто-то потянул его к ней, — он бросился, он схватил ее руку и целовал точеную, милую ее ладонь и пальцы. Глядел в глаза, в уме повторяя всю свою блистательную партию наизусть, — читал ее, одинаковое с начала и конца, — «Анна», родное имя, — и таяло все и, уносилось, и казалось, что стали стены, как двери... и снежной пылью хороших, — не одной, а тысяч метелей подернулось и заволокло все вокруг.

И шептал он ей милый любовный вздор, и слова, как хлопья снега, плясали вверх и вниз над ними. И целовал бессчетно точеную эту руку, отворившую в нездешнюю радость дверь... И вышли оттуда тысячи согласных флейт навстречу этим двум.

...Стал не своим совсем. И нечаянно взглянул он в ее лицо, любовным оком, с зоркостью, которая нужна там, где унылый пел самовар возле трехногого кресла, а четвертою — помойное ведро, и увидел: блестело в свете не наших ламп лакированным деревом королевино бледное лицо. И стало голубым все. А нежность горячим вином вливалась в его пустую зеленую бутылку. Но тотчас же ощутил он, как складками безжалостной древесины облекаются они, два...

Он скачком потухающего сознания раздвинул руки по сторонам и раздвинул прямые угла... Деревянным смехом рассмеялись где-то за обозначившейся вдруг стеной уходящие флейты. Передвинулось и разогнулось, больно ударив в затылок.

Владимир Николаевич раскрыл глаза, прищурился, вытянул руку и разжал ладонь, — там лежал шахматный, деревянный, теплый его теплотою ферзь.

Фигуры рассыпались по полу. Согласные, как слепец с поводырем, пели метель и хромой хозяйкин самовар.

...Метель неслась, но пахло оттепелью, и за ровными поверхностями нанесенного снега верилось в грязные холодные талые лужи.

Вошла в комнату толстая ведьма Наталья:

— Там к тебе тот, рыжий, пришел...

La regina di legno

I

E già, certamente, qua non c'è niente di strano.

...Una volta, di notte, Vladimir Nikolaevič si sedeva sul tavolino e giocava a scacchi per riposarsi, - ripeteva il gambetto di Re di Staunton del primo periodo, messo ancora in “Palamède” negli anni Settanta. Sul tavolo dietro di lui il samovar sbilenco del padrone cantava una canzonetta metallica.

...In quel tempo oltre la finestra dicembre faceva sentire il suo peso, e i bianchi cavalli innevati di una bella tormenta portavano vorticosamente per la città l'azzurro slittino del sonno. Ed era come se qualcuno suonasse il flauto, ed era come se il flauto suonasse da solo.

Questa partita, giocata ad Avignone circa settant'anni prima, fu forse la più elegante di Staunton. L'attacco dei cavalli bianchi, dopo l'improvviso assalto della regina nera, era misurato, distinto e rigido, come una formula matematica, in cui i segni si intrecciano gli uni agli altri così magicamente bene... E proprio il centro della partita, quando i neri raddrizzano le loro pedine contorte, e la torre nera, sfruttando la confusione dell'ala nemica, si sposta dalla casella B8 alla B4 e porta via il cavallo bianco, non è forse un Leitmotiv di Wagner, i cui ottoni adirati fioriscono sopra la testa come un inatteso fiore sonante?

Il samovar sospirava col suo petto lustro, si calmava per un breve attimo, e poi di nuovo una sommessa canzonetta del samovar malinconico iniziava fiaccamente a strisciare per la stanza. In quell'intervallo di tempo Vladimir Nikolaevič spostò la torre e iniziò a riflettere sulla regina. Staunton si perdeva qui nel ginepraio dell'attacco del cavallo e con un incomprensibile e furioso accanimento batteva col cavallo dalla F3 alla D4, e poi sviluppava la magnifica combinazione al suo fianco sinistro... Vladimir Nikolaevič si immaginava chiaramente un'altra variante, e cioè: la regina andava dalla D5 alla A5, come faceva successivamente Andersen contro Kizerickij, e da lì – per la verità, rischiando una catastrofe – si poteva direttamente minacciare il centro dei bianchi... Vladimir Nikolaevič decise di elaborare questa variante e, dopo essersi messo a fumare una sigaretta, puntò lo sguardo oltre la finestra.

...Lì il volo silenzioso degli zoccoli di vento squarciava l'azzurra ghiacciata profondità della notte. E si allontanavano... e accorrevano di nuovi. E tutto questo flusso di neve era come un flauto. E le forti mani di qualcuno sollevarono il flauto ridente sopra le case.

Il samovar brontolava. L'attenzione di Vladimir Nikolaevič era catturata dal pedone bianco: qui stava la causa di alcune complicazioni e dell'incertezza, ma già adesso diventava chiaro: la C4 batteva la F7, e la G7 dei neri...

Proprio in quel momento Vladimir Nikolaevič scrutò la notte, e allora in modo del tutto inaspettato sentì il sommesso fischio del flauto della tempesta, che attirava nelle pianure di dicembre... E questo gli ricordò le lettere della graziosa fanciulla Mariannočka, che un tempo sotto uno scialle color lilla aveva sfiorato affettuosamente il suo cuore. Vladimir Nikolaevič si immaginò chiaramente sia i suoi occhi che le sue labbra, che erano così: labbra per un flauto di neve.

Ma seduta stante dietro le care labbra di Mariannočka si ricordò chissà perché della più astuta variante di Morfi, e allora Izvekov con un sorriso beffardo spazzò via dall'animo tutta questa nebbia rosea, come una pozzanghera dal marciapiede, e Staunton, su consiglio dell'infallibile Morfi, saltò col cavallo in avanti e si rizzò minacciosamente proprio davanti al naso del re sbigottito.

E di nuovo il flauto iniziò a suonare. E come sottomettendosi a qualcosa, che c'era in precedenza e che ora se n'era andato, Vladimir Nikolaevič si avvicinò alla finestra e iniziò a guardare.

...Mandrie di neve correvano tra le case – gli occhi gialli coperti dalla tempesta sbirciavano al piano terra e al primo piano delle case – spruzzando attorno fiocchi azzurri, trascinando nella foschia ghiacciata di una notte senza stelle gli alfieri che si ribaltavano allegramente... Poi passò una torre sotto la stessa finestra, girando furiosamente, tutta arabescata, come una matassa di pizzo nevoso. E di nuovo un qualcuno, tenero in quella tempesta, fece un gesto disperato di richiamo, tendendo le labbra esangui verso il flauto.

Improvvisamente si stava straordinariamente bene – non era forse perché era cessato di colpo il verso metallico del samovar? .. E al posto suo una sommessa risatina di donna percorse la stanza e penetrò nell'orecchio di Vladimir Nikolaevič e gli si nascose proprio nel cuore. Chiaro che lui si girò, ma ciò che vide non era affatto chiaro. Notò sulla scacchiera che all'improvviso si era dilatata a più non posso...

...e il flauto continuava a suonare. Era percorso avanti e indietro da una mano bianca...

Vedeva chiaramente che, dopo essersi spostato sulla casella B7, la regina nera voleva consegnare un bigliettino biancastro all'ufficiale degli avversari, mentre oltre la torretta intagliata il re nero piegava la testa calva incoronata sopra il grassottello dai capelli rossicci, ovvero uno dei pedoni, che sulla scacchiera sono sempre otto, sciocchi e tutti uguali... vedeva ancora come tutto si

era pietrificato, e dietro le pieghe di seta del vestito della regina si era nascosta con spavento la sua mano sottile e tornita – si spostò, sobbalzò e si fermò così.

...Con un gesto delle mani bianche dietro la finestra cessò il flauto, e di nuovo, triste e solo, il samovar intonò la canzone interrotta. E solamente due cose si impressero allora nella mente di Vladimir Nikolaevič, la prima erano gli occhi della sua regina, rapidi come quelli di una tempesta di neve, in cui ci sono tanti occhi tutti diversi ma ugualmente cari, ma tra di essi lei è l'unica... E la seconda era che: i pezzi sulla scacchiera risultarono disposti proprio... Ma sì! Era inusuale, Vladimir Nikolaevič aveva visto chiaramente coi propri occhi qualcosa che Steinitz non aveva neppure sognato e che Andersen non osava nemmeno supporre. Era più inaspettato del più scintillante, repentino come una cascata, gambetto di Evans. Allora era ancora incerta la posizione nel gioco dell'ufficiale e della regina... Era facile da ricordare: la regina nella D2, e accanto a lei, alla distanza di una mossa del cavallo, l'ufficiale del campo avversario... I pedoni, serrati come la catena di un'ancora, corrono all'attacco – due muoiono – ma solamente dopo tre mosse lo stesso ufficiale, che nascondeva il messaggio d'amore, fa scacco matto al re che rimane sbigottito.

E ancora... e ancora una volta i flauti.

...Con uno sguardo spaventato Izvekov tastò sia queste quattro pareti diventate gigantesche, sia questo samovar ingrossatosi come una montagna d'ottone. Sì, lui – Vladimir Nikolaevič Izvekov stava in piedi sulla scacchiera, alla distanza di una mossa del cavallo rispetto alla regina, e quella gli tendeva un biglietto piegato in quattro. Lui lo prese, e quando quel biglietto si posò più comodamente nella tasca triangolare coi risvolti del suo giustacuore di velluto, fu di colpo chiaramente comprensibile tutta questa repentinità e la stranezza di questa repentinità... Questo gli provocò un'indescrivibile paura e addirittura terrore. Sì: era diventato ufficiale nero del fianco sinistro della regina di legno.

Ancora un attimo e la coscienza iniziò a raffreddarsi in lui, e come legno brillò la sua mano a livello degli occhi, che sollevava il cappello ad asciugare il sudore della paura. Con un ultimo rabbioso sforzo di volontà quasi già impietrita gli uscirono a stento quattro parole legnose:

- No, non voglio... no...

...Da qualche parte vicino si mise a suonare il flauto della tempesta, forte come un corno da caccia. Poi qualcosa si spostò, l'angolo acuto divenne ottuso e scomparve, si annullò in una linea retta che portava verso il nulla; oscillò come un fiore e di nuovo quell'improvviso quadrato divenne un triangolo.

Il samovar fece ritorno chissà da dove e si fece sentire, e lo stesso Izvekov si ritrovò seduto in una poltrona a tre gambe – la quarta gamba era un secchio del padrone – ed era addirittura come in dormiveglia. Si stropicciò gli occhi, gli affiorò il ricordo e gli venne voglia di sorridere pensando al sogno che gli era balenato, così contorto, ma... sulla scacchiera c'era proprio quella stessa, unica posizione su un miliardo, in cui la regina nera e l'alfiere nemico in nome della più brillante delle conclusioni si legano reciprocamente con i fili sottili del disegno degli scacchi.

La tormenta stava calando, il piccolo orologio a parete ticchettava. Dalla strada, con un occhio vitreo, gelato, il lampione puntava sulla schiena di Vladimir Nikolaevič attraverso il vetro su cui si era posato un leggero ricamo di ghiaccio. La tormenta stava calando, ma Réaumur scendeva sempre di più nella sua piccola ampolla di vetro. E per terra, proprio vicino ai piedi si vedeva il biglietto che era caduto da lì. In esso erano scritte semplici parole: “Caro, voglio restare sempre con te. Dalla mia gabbia di legno sono tutta tesa verso il tuo cuore. Ho solo te, tutti gli altri, intorno, sono di legno...”

II

Boris Viktorovič Kolomnickij era innanzitutto un musicista e anche un forte appassionato di ogni stravaganza nel mondo degli scacchi, e poi era una persona allegra, ma aveva un pochino la lingua lunga. Infine era, per dovere d'amicizia, l'unico e paziente confidente dei pochi segreti di Izvekov.

Era già tardi. Boris Viktorovič era disteso sul letto e teneva proprio davanti al suo naso uno stralcio di quotidiano in attesa che la zuppa del giorno prima si riscaldasse sul fornellino a petrolio.

Era tardi, era già mezzanotte. Attraverso il vetro appannato di un sonno insuperabile Kolomnickij cercava di capire il senso misterioso di alcune parole scritte su quel brandello di quotidiano: - Extra fine... - 22.10... fully – good – fer... - 19.10... Certo, se non fosse stato per lo stato di dormiveglia, sarebbe stato indubbiamente in grado di capire subito che si trattava semplicemente del bollettino dei prezzi del cotone di luglio. Ma il sonno portava lontano queste parole e cifre, a venti chilometri di distanza, e lì si gonfiavano con una velocità e insolenza inconcepibile e correvano incontro agli occhi che si chiudevano, spaventose come bestie apocalittiche... Ma era ancora presto per dormire.

In quel momento arrivò Vladimir Nikolaevič. Allora le bestie apocalittiche si strinsero con viltà in un pugno iroso e volarono in un angolo buio e impolverato, dove il violoncello aveva messo in mostra la sua pancia giallorossa.

- Ecco, Bor'k, sono venuto qua.

- Ehe, - capisco!..

- No, i soldi in realtà ce li ho: me li hanno dati oggi... Ecco ti ho portato il libricino, di cui mi avevi parlato.

- L'hai comprato?

- Sì...

- E mentre lo stavi comprando – Kolomnickij guardò severamente Izvekov, ma dietro il suo sguardo serio balzavano allegri i tratti verdi e gialli di una risata senza freni – il commesso non ti ha chiesto: non ha mai pensato Kolomnickij di sposarsi?

Izvekov agitò le braccia:

- Ecco cosa significa lasciarti da solo! A te, vecchio mio, ha dato di volta il cervello!

Quello si sedette sul letto e si stropicciò gli occhi coi pugni:

- Già, è brutto, caro mio, vivere da solo! Ogni uomo giovane, normale, deve prima o poi innamorarsi, capisci. Cos'è l'uomo senza amore? – Kolomnickij puntò l'indice della mano destra da un lato, - un anfibio a due zampe oppure una solfa stupida e noiosa!

Kolomnickij abbassò i suoi sporgenti occhi ridenti e sospirò pesantemente:

- Tu, ecco, Volod'k, - tu sai cosa dicono su di me i ragazzi del conservatorio? Dicono che io e il mio violoncello!.. Hai capito?.. E contemporaneamente c'è una ragazza, intelligente, addirittura per niente male, ma stai tranquillo: prima del matrimonio non te la presento!

Vladimir Nikolaevič s'incupì:

- Dove tieni gli scacchi, bestiaccia?

- Nell'angolo. Ieri la padrona ha rovesciato il tavolino – i pezzi si son persi ovunque, come scarafaggi... Cerca, se proprio ti servono!

Vladimir Nikolaevič si mise carponi sul pavimento, rovistò con la mano sotto il sofà, tirò fuori il cavallo e iniziò a sistemare i pezzi.

- Bor'k, ti manca un pedone!

- Bianco?

- Sì.

- Assente in modo perenne e ignoto. Non dispiacertene, usa un tappo, sono stupidaggini!

...Vladimir Nikolaevič iniziò dal gambetto di Mucievskij, buttò giù l'alfiere, restituì il cavallo e arroccò... Kolomnickij si mise a mugolare, scrutò attentamente la scacchiera e si avvicinò e iniziò a guardare.

Izvekov giocava abilmente. Pam – la torre saltò giù dal bordo della scacchiera direttamente nella pozza del tè rovesciato il giorno prima. Un – due- tre – gli alfieri bianchi calpestarono l'ala destra dei neri, il re dalla D7 ritorna di nuovo alla D8 e ancora una volta esegue la sua misera danza di re sul posto sotto le fruste ricurve dei cavalli nemici... Ancora due mosse – E4 batte G5 – l'alfiere calpesta il pedone che sta sul tragitto della regina, ed ecco...

...Kolomnickij era meravigliato. Anzi – era avvilito e guardò negli occhi Izvekov un po' in modo affettuoso, come un cagnolino.

- Senti! Ma questo non è possibile! Un attimo, l'alfiere batte la G5... Capirai bene, lo stesso Filidor ha qua preso il volo con tutto il parentado!.. Ma è lo stesso che trovare Venere... inventare la locomotiva a vapore! – Kolomnickij era fuori di sé, l'entusiasmo lo aveva in qualche modo sopraffatto.

...La tempesta iniziava piano a mormorare. E di nuovo la luna si diffondeva oltre le finestre, grande e infinita – e, come le isole nella piena ghiacciata della luna, spiccavano nel cielo nero le nuvole della tempesta.

- Ecco cosa, Izvekov! Per quattro mesi ho cercato di arrivare proprio a questo... Già da molto ero riuscito a sentire che doveva esserci anche negli scacchi questa situazione, in cui la donna tradisce solo per amore del tradimento, nel quale c'è una sorta di mistero e magia... - Ma no, che dici – te lo sei sognato?.. Non voglio dire che tu non ne saresti capace...

Si potrebbe aver raccontato tutto in modo chiaro e semplice, tenendo nascosto il biglietto, e non sarebbe successo niente allora, ma Vladimir Nikolaevič preferì mostrargli quel biglietto, che proveniva da un'altra dimensione, dalla gabbia di legno degli scacchi. Egli gli stese la mano apertamente, come aveva fatto col suo cuore nel corso di questi tre anni, e quello lo prese.

Allora Kolomnickij impallidì tutto, e il suo labbro inferiore iniziò chissà perché a tremare, e con una risatina indispettita e ostile gli chiese, sogghignando:

- La conosci da tanto?

- Chi?

- Anka...

- Ma di chi parli?

- Di te.

- Io? Io non conosco nessunissima Anka. Perché sei così accigliato?

Quello interruppe Izvekov, e la sua voce emise un suono scontroso:

- Tu? Tu certo non c'entri nulla qui! Il fatto è che... questo bigliettino l'ha scritto la mia fidanzata... quella che ti avevo descritto tempo fa... Ci sono anche le lettere qui in fondo: A. e R. e la sua firma. Per me, certo, lo ammetto...

Izvekov guardava ottusamente l'amico, capendo ben poco di quello che stava succedendo, ma qualcosa aveva già iniziato a infastidirlo. Poi ci arrivò, mentre Kolomnickij, in silenzio, masticava il bocchino della sigaretta, e iniziò con calore, ma in modo sconclusionato, a raccontare e spiegare all'amico di come il flauto avesse suonato teneramente durante la tormenta del giorno prima, e di come la regina nera degli scacchi gli avesse lasciato cadere il biglietto, e ancora, e ancora... Parlava sinceramente, parlava, senza nascondere alcuna parola, parlò per una mezz'ora. Ma, quando la zuppa nel pentolino sul fornello a petrolio cominciò di colpo a ribollire, Kolomnickij si alzò, interrompendo il flusso disordinato del discorso di Vladimir Nikolaevič, sbadigliò e disse:

- Non ti credo, poiché non credo né ai segni premonitori, né ai miracoli. E poi ecco: adesso mangio, poi vado a dormire.

Vladimir Nikolaevič era una persona perbene. Rimase lì ancora un momento per decoro, poi s'infilò la pelliccia, sospirò profondamente e uscì, senza salutare.

...Nel vicolo scivolavano giù le ombre di luna, dalle montagne di neve, sui pattini di neve che scricchiolavano allegramente. Faceva molto freddo e si stava bene. Era quasi come se la luna avesse trapassato la pelliccia e avesse ben aderito alla schiena, ed era questo che dava un senso di benessere. E in effetti è bello quando scricchiolano i passi e la propria ombra, come un cagnolino fedele, corre in avanti, tastando col musetto ogni curva sulla strada.

Ma ha cattivi pensieri la persona, che torna dopo un fastidioso dispiacere nella sua tana vuota e poco accogliente.

III

...Ancora qualche volta, nelle sere segnate dalla tormenta, Vladimir Nikolaevič vedeva come si rianimava la sua regina nera, che aveva posto teneramente le sue due iniziali in quel piccolo biglietto: A. e R. E ogni volta, quando con una mossa del cavallo si ritrovava sulla scacchiera vicino a lei, riusciva a cogliere solamente uno sguardo veloce e gentile della regina. E se il cuore avesse iniziato di colpo a volere che questa felicità di legno non si interrompesse, sarebbe diventato all'istante della luce da triangolo a sconosciuto quadrato, e un certo angolo si sarebbe appiattito fino a scomparire: così 180° e così 180°, sarebbe caduto l'anello segreto della catena. E si sarebbe risvegliato dal sonno nella nostra, in questa dimensione, e avrebbe sguazzato in una pozza pesante, stratificata, di un minuto non appagato...

Ed ecco che allora era arrivato l'amore da Vladimir Nikolaevič, grande come una casa a sette torri. E la sua anima iniziò a vivere in questa casa, e si sentiva molto bene.

...Per interi giorni correva di qua e di là a dare lezioni. Di sera a volte, quando si alzava la tormenta, metteva sul palmo aperto la sua regina di legno e aspettava di vedere se questo legno sarebbe sbocciato sotto i suoi occhi ardenti in fiori scarlatti e azzurri, come la verga di Aronne.

Ma tutto taceva, e la sua anima di legno non si svegliava nei meandri sottili della materia. E passava la sera, e nell'animo si inscriveva con una matita color lilla la parola: "Vuoto".

Con Kolomnickij si era rotto ogni rapporto da sé, poiché questi non credeva né ai segni premonitori, né ai miracoli, mentre Izvekov sì. Da alcuni si era sentito dire che beveva molto, da altri che stava elaborando una qualche mossa degli scacchi, da altri ancora che era cambiato profondamente e che i suoi capelli erano diventati ancora più rossi... Poi tutte queste voci s'acquetarono.

...Mentre il samovar sul tavolo cantava a volte con una voce di baritono profondo, a volte con una di tenore sottile e metallico, si sedeva vicino alla finestra e, quando le ombre dei cavalli bianchi della tormenta con le macchie azzurre iniziavano a spruzzare una nebbia di neve, e il flauto iniziava a suonare, continuava ad aspettare che si restringesse improvvisamente dal nulla quel misterioso e luminosissimo angolo di felicità, che Kolomnickij aveva eguagliato al segno premonitore e al miracolo, e che l'anello del risveglio della regina entrasse a far parte di quella catena di anelli così noti e terribilmente abusati.

E una sera accadde qualcosa di molto spiacevole: la regina scomparve. Non c'era più da nessuna parte: ne qui, ne lì, né da qualche altra parte... Quella sera Vladimir Nikolaevič volò come una bomba in cucina, dove viveva una strega, piuttosto grassottella, di nome Natal'ja:

- Veniva da qui, hai visto niente? – continuava a domandare Vladimir Nikolaevič, scuotendo la testa.

La strega fece un salto indietro dalla vasca per il bucato e riuscì solo a mugghiare:

- Ma noo... nessuno veniva da qui... noo...

Vladimir Nikolaevič sapeva come bisognava rivolgersi alle streghe:

- C'è stato qualcuno qua? – per poco Izvekov non le slogò il polso.

- C'è stato quel... rosso, tuo amico... Poi se n'è andato, ha appuntato una lettera al muro per te...

- Alto?

- Sì come te...

- Rosso?

- Rosso, pare...

Ma certo, era Kolomnickij, - si era portato via anche il pezzettino di legno, dov'era rinchiusa l'anima della regina. Izvekov cominciò a gemere, emise un gemito in un modo solo a lui conosciuto e, piegandosi, si precipitò nella stanza a cercare il biglietto. Era appeso al muro, attaccato alla carta da parati con una piuma color ruggine:

“Me ne vado con lei. Spiegherò tutto. Non cercarmi, non provocarmi”.

Vladimir Nikolaevič si mise le mani nei capelli, poi pensò a un cattivo pensiero, nato dalla disperazione, infine si mise il cappello e si precipitò per strada con la velocità di Natal'ja, lasciando dietro di sé il tintinnio di un bicchiere rovesciato, il lamento sommesso della strega Natal'ja, che si era messa la mano sul fianco, dove probabilmente il gomito di Izvekov aveva lasciato un bel segno e il guaito furioso del gatto, la cui coda era rimasta schiacciata sotto la porta.

...Il crepuscolo umido del disgelo appena iniziato agiva su di lui in modo benefico, ma lento. Per circa un'ora e mezza camminò distratto tra i vicoli, immerso nella risoluzione di un qualche problema – che chiaramente aveva a che vedere con gli scacchi – il cui senso era diventato inaspettatamente il senso di tutta la sua esistenza sulla Terra. Questo micidiale smarrimento non lo

lasciava nemmeno per un secondo, finché, dopo essersi scontrato col palo della luce, non sollevò il berretto a visiera per scusarsi con quest'ultimo. Dopo aver capito cos'era successo, scoppiò a ridere e si diresse verso casa.

...Ma la notte si avvicinava inavvertitamente, come un gatto nero, senza farsi vedere, silenziosa, ma del tutto vicina. Sul cielo comparvero delle nuvole basse, soffici e grigie, come la coda di un gatto. Gli si stringeva il cuore per l'ansia... Proprio vicino all'androne un gatto nero magrissimo gli attraversò la strada. Vladimir Nikolaevič gli sputò dietro, di nuovo fu pervaso da un'angoscia così disgustosa, che gli venne voglia di afferrare coi denti il respingente del tram e cominciare così a ululare tanto da crepare la strada...

Entrò nella stanza, - Natal'ja sporse le labbra in segno di disapprovazione e con aria offesa – si gettò nel letto, prese il cuscino tra i denti e bucò la nuova federa. Non c'era limite al suo dolore e non c'era fine all'angoscia, ma i denti erano aguzzi.

IV

Ed ebbe inizio.

La buona vecchietta, che nelle sue lettere lusingava il suo caro e unico Voloden'ka con parole vecchie e goffe, come sapeva fare, non lo riconoscerebbe ora: il viso era molto dimagrito, mentre il naso si era fatto più aguzzo e gli occhi diffidenti e acuti, e un'improvvisa abbondanza di peli sul mento aveva conferito al suo sguardo una certa aria grigia, sgradevole.

...Per intere serate camminava sul fare del crepuscolo, cercava, dava un'occhiata ai scuri volti dei passanti, scrutava le finestre delle case, continuando a cercare. Le scope della tormenta avevano provato a spazzarlo, ma non ci erano riuscite... Il gelo provava a congelargli il cuore, ma batteva come prima: male e in modo agitato.

Di recente, quattro giorni prima, Vladimir Nikolaevič aveva incontrato la persona che cercava. Allora c'era la tormenta: turbinava nei vicoli in bianche colonne spettrali, e le colonne avanzavano in fila, e ogni colonna aveva degli occhi, scegline uno!.. Lei gli passò accanto, e con lei due ufficiali che camminavano ai lati. Uno di questi non era altro che Kolomnickij. L'altro era quel tipo degli scacchi, piccoletto, che si era perso a casa di Izvekov ancora tre settimane prima circa.

Stringendosi al muro, mentre si guardava intorno con aria smarrita, sentì i fiocchi sonori della risata della regina che erano planati sopra il suo cuore ed erano svaniti nella colonna che vorticava, vide il volto di legno, uno dei due. Camminavano, ma sembravano fluttuare... ed ecco lontano

proveniente dagli instabili pendii grigi, appoggiati ai tetti tremolanti, giunse il flauto che suonava per lui quella volta...

Quando lo sentì, si lanciò all'inseguimento, ma un ammasso di fiocchi bagnati, che freneticamente si erano uniti in una valanga trasparente, gli tappò gli occhi e le orecchie... Riprese i sensi e di nuovo si lanciò in avanti, ma qualcosa di azzurro e sibilante s'impennò proprio davanti ai suoi occhi, stendendo in alto sopra le case le grinfie nevose.

...Poi la vide in strada. Vicino alla vetrina di un negozio, mentre rifletteva la sua figurina nera davanti il vetro a specchio, si stava aggiustando il cappello.

...Poi una volta, a ora tarda, lei stava attraversando la strada, vicino da morire, a braccetto con un vecchio di alta statura, e la sua risata era come una pallina di ceramica su un allegro piatto d'argento.

Allora le automobili agli incroci, con voce rauca e glaciale, mettevano paura alle vecchiette che si sono attardate, e andavano i tram, musi selvaggi della città notturna. E poi, doveva proprio accadere che cinquanta persone eterogenee proprio in questo tram proprio a quest'ora andassero nella stessa direzione... Allora le sfere lattee dei lampioni ad arco si stavano accendendo sulla via principale tra le sfere turbinanti della tempesta. E fu chiaro a chiunque quella sera che nella via principale della tempesta stavano sparsi molti pezzi di cuori, che avevano patito grandi sofferenze.

V

Proprio quella sera a Izvekov sopraggiunse un nuovo pensiero. Aveva una chiara idea della disposizione degli scacchi, quando la regina, mentre gioca con un ufficiale, non si accorge dell'altro, anche lui alla distanza di una mossa del cavallo. Fu chiaro allora che quest'altro era Kolomnickij.

...Izvekov correva verso casa, agitando le mani, rovesciando le ombre al suo passaggio, i sorrisi spaventati dei passanti e gli ammassi vivaci del vento che gli veniva incontro... Si fermò solo sulla porta, si asciugò la fronte con la manica, corse dentro e si sedette davanti alla scacchiera.

Al posto della regina nella casella c'era il tappo lappato del conte, al posto di Kolomnickij c'era il moccolo di una candela di stearina... I pezzi si erano messi al loro posto. Izvekov fece un sorriso sghembo a qualcuno, che stava invisibile vicino al muro, strizzò l'occhio e fece un colpetto di tosse... La partita iniziò.

...C'era di nuovo la tempesta fuori. La finestra venne coperta da un velo di ghiaccio, ma fu subito buttato giù, quando venne sfiorato dal pelame nero delle ombre che sfrecciavano nella tempesta. Sembrava ci fosse un vicolo cieco, e nel vicolo una casa minuscola con due finestrelle, e che nella casa ci fosse una persona tutta scompigliata, e avesse un'anima zoppa, e gli occhi della tempesta...

...La neve turbinava nel vicolo granulosa e pungente, come allora, all'inizio di tutto.

Il cavallo bianco andò avanti. Il moccolo di stearina si spostò indietro e fece un minaccioso scacco al tappo lappato di vetro, la A8 fece un'incursione all'A5, gli alfieri bianchi cominciarono a rivoltarsi ... La regina portò via il pedone dalla scacchiera. Il cavallo annientò un altro pedone e poi ancora un altro e ancora...

Vladimir Nikolaevič non sopportò tutto questo: appoggiandosi allo stipite, sibilò piano a quello che stava vicino al muro in modo insignificante:

... – Mi ascolti, questa non è una partita, è un macello... Lei è più bravo!

...Era ovvio: bisognava isolare la regina e cacciare dalla scacchiera Kolomnickij con un colpo preciso.

Si coprì di sudore e fece scivolare la pelliccia dalle spalle, mentre la testa lavorava in modo sempre più nitido. Se si avesse provato a tendere l'orecchio, si avrebbe potuto sentire – per chi ha un buon orecchio - come degli ingranaggi inesistenti avevano iniziato ad attaccarsi l'uno all'altro coi dentelli aguzzi, per spostare la grande ruota pesante.

E il flauto cominciò a suonare... E la tempesta non si calmava. Ed era come se qualcuno danzasse, sollevando il fischio del flauto che suonava nel cielo nebbioso. Ed era come se il flauto danzasse da solo...

Vladimir Nikolaevič era in tensione fino allo spasimo, qualcosa avrebbe potuto rompersi in lui... ventidue... ventitré... E alla ventiquattresima mossa il cavallo bianco fece esattamente un passo verso la D6, e alla venticinquesima mossa la torre nera, lenta come barca di Caronte, minacciando il re che si era nascosto, rovesciò Kolomnickij e... Tutto era finito, lo scacco in tre mosse era chiaro: la mossa base di Philidor!..

...Si adagiò fiaccamente sulla poltrona e la sua anima diventò di colpo come una bottiglia verde vuota, e gli occhi si chiusero, come se qualcuno si fosse seduto per davvero sulle sue palpebre. Poi due linee diverse si accostarono, e si formò un angolo... e proprio vicino all'orecchio cominciò a

oscillare il fischio del flauto vicino. Poi tutto si spostò, e in questo spostamento si delineò la sommessa risatina di donna che era appena apparsa da lì...

...Si voltò in un modo che scricchiarono tutte e tre le gambe della poltrona, spalancò tutte le sue centomila paia d'occhi, e l'angoscia di una dolcezza insopportabile, del passaggio nella dimensione della regina, lo fece coprire di sudore freddo dalla testa ai piedi.

Lei era seduta vicino, tutta vestita di nero - così tante volte desiderata, vinta, ma mai raggiunta - fermando su di lui il suo sguardo di tormenta. Qualcuno lo trascinò da lei: lui si lanciò, afferrò la sua mano e baciò il suo palmo, sottile e caro, e le dita. La guardava negli occhi, ripetendo a mente tutta la sua brillante partita a memoria - recitava il suo nome, "Anna", che è uguale se letto dall'inizio o dalla fine - e tutto si scioglieva e svaniva, e i muri sembravano diventare porte... e tutto attorno si coprì di una polvere innevata - non di una, ma di migliaia di forti tormenti.

E le bisbigliò una simpatica frasetta d'amore, e le parole, come fiocchi di neve, danzavano su e giù sopra di loro. E baciava all'infinito questa mano sottile, che aveva aperto la porta a una felicità non terrena... E da lì arrivarono incontro a questi due migliaia di flauti in coro.

...Non era più lui. E involontariamente gettò uno sguardo sul suo viso, con occhio innamorato, penetrante come occorreva che fosse dove cantava il mesto samovar vicino alla poltrona a tre gambe (mentre la quarta è un secchio delle immondizie), e vide che, alla luce di lampade non terrene, brillava il pallido viso della regina in legno laccato. E tutto si fece azzurro. E la tenerezza si riversava come vino caldo nel vuoto della sua bottiglia verde. Ma all'istante sentì che loro due venivano rivestiti di pieghe di quel legno spietato...

Con un balzo della coscienza che si stava spegnendo allargò le braccia e aprì gli angoli retti... Scoppiarono in una risata legnosa i flauti, il cui suono stava svanendo al di là di una parete comparsa all'improvviso. Tutto si capovolse e s'impennò, con un doloroso colpo alla nuca.

Vladimir Nikolaevič aprì gli occhi, li strizzò, stese la mano e l'aprì: lì c'era la regina degli scacchi, di legno, tiepida per il suo calore.

I pezzi erano sparsi per terra. La tormenta e il samovar sbilenco del padrone cantavano in armonia, come il cieco con la guida.

...La tormenta continuava a infuriare, ma già c'era un sentore di disgelo e, al di là delle superfici piatte della neve che caduta, si presentivano le sporche pozzanghere di neve sciolta e fredda.

Entrò nella stanza la paffuta strega Natal'ja:

- È venuto da te quel tale, coi capelli rossi...

5. Bibliografia di riferimento e siti web consultati

Konstantin Sergeevič Kogut, *Apokaliptičeskie obrazy v rasskaze Leonida Leonova «Uchod Chama»*, “Problemy istoričeskoj poetiki”, 2016, pp. 417-427, consultato al link <https://cyberleninka.ru/article/n/apokaliptičeskie-obrazy-v-rasskaze-l-leonova-uhod-hama> in data 10/05/2019.

Aleksandar Flaker, “*Eretici*” e sognatori: le nuove strutture della narrativa, in: *Storia della civiltà letteraria russa*, vol. II, Utet, Torino 1997, pp. 271-303.

Tamara Michajlovna Vachitova, *Intertekstual’nyj fler rokovych krasavic v proze Leonida Leonova*, “Vestnik Volgogradskogo gosudarstvenno universiteta. Serija 8: Literaturovedenie. Žurnalistika”, 2011, pp. 28-37, consultato al link <https://cyberleninka.ru/article/n/intertekstualnyy-fler-rokovyh-krasavits-v-proze-leonida-leonova> in data 29/05/2019.

Tamara Michajlovna Vachitova, *Kartina mira v proze Leonida Leonova*, “Vestnik Volgogradskogo gosudarstvenno universiteta. Serija 8: Literaturovedenie. Žurnalistika”, 2006, pp. 32-40, consultato al link <https://cyberleninka.ru/article/n/kartina-mira-v-proze-leonida-leonova> in data 10/05/2019.

La Bibbia. Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, Piemme, Milano 2004.

Katerina Clark, *La prosa degli anni Venti*, in: *Storia della letteratura russa*, vol. II, Einaudi, Torino 1990, pp. 407-437.

Michel Aucouturier, *La vita letteraria degli anni Venti*, in: *Storia della letteratura russa*, vol. II, Einaudi, Torino 1990, pp. 227-247.

Ivan Verč, *Leonid Leonov (nato nel 1899)*, in: *Storia della letteratura russa*, vol. III, Einaudi, Torino 1990, pp. 113-123.

Tamara Michajlovna Vachitova, *Leonov Leonid Maksimovič*, in: *Russkaja literatura 20. veka. Prosaiki, poety, dramaturgi: biobibliografičeskij slovar’*, OLMA-PRESS Invest, Moskva 2005, pp. 416-421.

Anastasija Olegovna Tueva, *Osobennosti chronotopa v rasskaze L. Leonova «Buryga»*, “Vestnik Vjatskogo gosudarstvennogo universiteta”, 2012, pp. 110-114, consultato al link <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-hronotopa-v-rasskaze-l-leonova-buryga> in data 29/05/2019.

Leonid Maksimovič Leonov, *Povesti i rasskazy*, Lenizdat, Leningrado 1986.

Leonid Maksimovič Leonov, *Rannie rasskazy*, Wilhelm Fink Verlag, München 1972.

Boris Thomson, *The Art of Compromise: The Life and Work of Leonid Leonov, 1899-1994*, University of Toronto Press, 2001.

<https://bible.by/>, consultato l'ultima volta il 10/05/2019.

<http://bible.optina.ru/old:iov:38:31>, consultato l'ultima volta il 10/05/2019.

<https://www.calend.ru/narod/6758/>, consultato l'ultima volta il 09/05/2019.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Selah>, consultato l'ultima volta il 09/05/2019.